

Ольга Балла

ВРЕМЯ
СНОВИДЕНИЙ

Москва



издательство
СОВПАДЕНИЕ
2018

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б 20

Балла Ольга.
Б 20 Время сновидений. — М.: Совпадение, 2018. — 120 с.
ISBN 978-5-9500565-7-4

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Время сновидений*

Давным-давно, летом 1989-го, на своём 24-м году, идучи очередной обыкновенный раз через архетипический двор своего архетипического дома, я вдруг поймала себя на чувстве того, что детство наконец стало чем-то отдельным от меня — и что переживание мира тогда, оказывается, было совсем другим. Поражённая этим открытием, я принялась писать не то чтобы воспоминания, но реконструкцию тогдашнего восприятия всего — под (украденным у австралийских аборигенов) названием «Dreamtime», «Время Сновидений». Эта реконструкция так и осталась в набросках. По-заимствуем у неё название — и начнём сначала.

До всего. Движение

Первые воспоминания — скорее всего, из самых первых месяцев жизни: по крайней мере, устойчиво кажется, будто помню ветки деревьев над собой, лежащей в коляске, которую везут (вид явно из положения лёжа: деревья без листьев, серое небо. Осень 1965-го? Весна 1966-го?) Может быть, эта картинка затесалась мне в память откуда-то ещё, — не настаиваю — но неизменно всплывает в ней как первая.

Все ранние воспоминания связаны с движением: несут по комнате на руках — комната, большая, полутёмная — свет

ISBN 978-5-9500565-7-4

© Балла О., 2018
© Издательство «Совпадение», 2018

* Впервые опубликовано: Первое сентября. — № 15. — 2011.

откуда-то снизу (настольная лампа?) — медленно поворачивается вокруг. — Учусь ходить: паркет покачивается перед глазами. — Водят на «шлейке»: коричнево-блестящей (устойчиво ассоциируется с шоколадом, причём несколько расплавленным, липким, избыточно сладким: такого цвета звук «щ»). На винтиках, которыми крепятся к шлейке «поводки», украшения в виде цветков с круглыми лепестками: толстых, тугих, слоющихся на ощупь. Чувство первых, неустойчивых, обрывающихся в ничто шагов неотделимо от этой ошупи: островка устойчивости.

Крупное

Есть у меня такая не до конца прояснившаяся внутренняя формулировка, что дети, особенно совсем маленькие, видят мир с изнанки — с той его стороны, куда крепятся ниточки, где вяжутся узелки — и видят эти узелки, путаницу ниток — а взрослые выходят на поверхность и видят картинку в целом, но узелков и путаницы уже, как правило, не чувствуют. Очень помню фактуру мира — его ближайших ко мне участков — конца шестидесятых. Помню себя как поднесённое к этой фактуре увеличительное стекло. Всё маленькое было близко, крупно, серьёзно: рубчик на ткани, точки узора на обоях, волокна древесины, песчинки, камушки, пуговицы.

Теперь, когда от детства (раннего, дошкольного) меня отделяют четыре десятилетия*, оно помнится как соприкосновение — в каждом бытовом действии и жесте — с бытием вообще, с самой субстанцией бытия. Этого и формулировать было не надо, это и так чувствовалось, и — как, по крайней мере, кажется — я сию минуту помню: вместе с каким-нибудь куском хлеба откусываешь часть самого бытия, и его вкус — прямое и серьёзное свидетельство об устройстве мира. Такое свидетельство —

* Теперь уже почти шесть. — Примечание 2018 г.

всё, что с тобой происходит. Всё важно — и всё имеет отношение к тебе как к точке существования. Каждая мелочь свинцово-тяжела от сгущения в ней мирообразующих сил. Тайными силами бытия пахнут свежераскрывшиеся майские листья, улица после дождя, внутренность чужого подъезда (как страшно!). Всё крупно, потому что близко. И всё — хоть немного да страшно: ни о чём никогда не знаешь вполне, чем оно обернётся.

Жуткое. Первовеци и первочувства

Детство — чувство реальной волшебности мира. Двоемирия, насколько помнится, в нём нет: мир один, но он волшебен и непредсказуем насквозь и в каждой своей точке. Из каждой точки могут вести — да и ведут — тёмные ходы неизвестно куда.

Эта волшебность если и радостна, то в последнюю очередь. Она уж точно не легка и прежде всего, скорее, жутковата.

Что угодно может обернуться чем угодно. Любое твоё собственное, даже незначительное, движение может повлиять на жизнь, и никогда не знаешь, как. Текучесть, пластичность всего и одновременно — вечность: всё Только Такое, Каким И Может Быть. Сама сущность вещей смотрит на нас глазами Шкафа, Двери, Вешалки, Газовой Плиты. Вещи, случайно встретившие нас в Начале Времени, превращаются в архетипы вещей, в первопринципы.

В детстве было два очень сильных, всеобразующих чувства, которые при кажущейся своей противоположности другу другу не соперничали, а существовали рядом, даже не в разных пластах — в одном.

Первое — страх перед миром (точнее, чувство того, что случиться может всё-что-угодно и это «что-угодное» с высокой вероятностью будет страшно, — причём как-то очень неконкретизованно- и крупно-страшно, что-то вроде: «ОНО меня погубит»).

Второе — чувство ориентированности мира на меня. Всё имело ко мне отношение — и свет, и туман, и темнота, и сырость, и кирпичная кладка случайной стены. Всё говорило мне — всем собой — что-то важное (не экзотически-важное, а буднично- и объемлюще-важное). Туман за окном был такой же частью личного бытия, как комната, стол, окно. И всё было живым. Тот же туман *чувствовал*. Не то что меня (хотя и меня тоже), но *вообще*.

Но из этих двух страх был всё-таки самым первым.

Все другие чувства — потом. Они образуются как защитная оболочка чёрной дыры внутри, совпадающей с чёрной дырой самого мироздания. Человек — пустота (живая и страшная), обрастающая такими оболочками. Первое движение мира — выскальзывание из-под ног, мягко-необратимое движение его вниз — в сторону — в никуда. Твёрдость, устойчивость, хоть какие-то их начатки — потом, и всегда — с памятью об этом перодвижении. Оно всегда отзывается в критические моменты, когда с таким тщанием наработанные защитные механизмы ослабевают, и ты узнаёшь его как свою страшную прародину.

Магическое. Близнечества

Два первопринципа бытия, два его первоорганизующих начала — «близнечества», как внутри себя называлось издавна, ещё до всякого Леви-Стросса: Красное и Зелёное, Горячее и Холодное, Светлое и Тёмное, Сухое и Влажное, Высокое и Глубокое. Красные Дома в Москве — и отрезок Ярославской дороги от вокзала до станции Челюскинской и окрестности станции.

Легко понять, что это не имеет отношения ни к «красоте», ни к «удобству», ни вообще к степени «правильности» устройства жизни в этих местах.

Во всех местах за пределами этих пространств бытие кажется заведомо более легковесным. Хоть чуточку — но всегда.

В нём нет этого жутковатого, вниз тянущего внутреннего магнита, который здесь есть и сейчас.

Грань между бытием и небытием здесь тоньше, чем где бы то ни было. Здесь всё вылеплено из ещё недифференцированной первоматерии бытия, и «материал всё время чувствуется». А частички небытия к нему, конечно, примешаны в большом количестве.

Эти пространства всеми собой, гулко и вразнобой гудящими голосами, вызывали меня из небытия. Я слышу их до сих пор. И именно поэтому места детства имеют отношение и к самому небытию: они — пограничье, они были той областью, которую я некогда, жизнь назад, пересекала, переходя из небытия в бытие, из тени в свет.

Они магичны, чем бы ни были, здесь дело не в качестве, но исключительно в статусе. Эти пространства — точная и единственная форма моего полного, или почти, соприкосновения с таинственной основой жизни; в этом смысле в них есть что-то столь же насыщающее силой, сколь и жутковатое. Они завораживают. Это — места, где значителен и архетипичен каждый предмет, если он изначален. Где жизнь и смерть — как в раннем детстве — присутствуют не просто одновременно, но в нерасторжимом единстве друг с другом, где они — одно.

Ну как можно в таких местах жить беззаботно, «просто так», как в любых других? Нельзя, конечно. Там избыток полноты — тяжёлой, тягучей, холодной и тёмной, как подземная вода. (Это относится, по моему чувству, только к раннему детству — лет с девяти потихоньку светлеет, к одиннадцатидвенадцати выполняем на сушу и начинаем греться на солнышке — пока не грянуло отрочество с его новыми водами, новыми неуютными. Во всяком случае, я вспоминаю свои 11—12 как самые солнечные годы между двумя долгими, но очень разными — пасмурностями.) Там слишком значительно — не расслабишься, там слишком много памяти, которая не даёт быть в простоте самой-собой-сегодняшней и по сравнению с которой я-настоящая всегда буду мелкой и недостаточной.

Ездить в такие места — акт магический (поэтому часто — нельзя, даже невозможно). Это всегда (сколько бы ни повторялось!) — нырок вглубь, прикосновение к тёмной основе бытия, к его чувствительному нерву, от чего всегда — больно.

Там каждая вещь была не сама по себе, а частью среды, ступком среды, вне среды не имела не только смысла — самой себя. Каждая там и сегодня словно впервые склужается из среды и в любой момент готова отступить туда снова — в дремлющую возможность, в полубытие (которое по густоте, по насыщенности потенциями неизмеримо превосходит само бытие — оттого и страшно так: вот он, фоновый страх детства, один из: страх среды, страх непроявленного).

Красное

Красное: жаркое, центральное, изначальное. Место, где я живу и сейчас, имело и имеет собственное имя: Красные Дома. Они в самом деле красные: красный кирпич, яркие белые детали.

Двор был миром. Вернее, не один двор — близнецное двудворье. Особое состояние пространства, мыслимого — мнилось — только здесь, единственного в мире.

Одни из сторон нашего большого двойного двора казались мне «светлыми», другие «тёмными»; одни — «высокими», другие — «низкими» и «глубокими»; одни — «сухими», другие — «влажными» (хотя в физической освещённости, в рельефе и в прочих осязаемых характеристиках разницы не было и нет никакой). Они и по сей день — совершенно повседневно — чувствуются именно такими: переживание этого двудворья очень неравномерно.

То, что их — два одинаковых, было одним из самых поражающих впечатлений детства.

Таинственный брат-близнец нашего дома, дом-тень, двор которого в моём чувстве всегда был чуть «темнее» нашего,

Дом Шесть по улице Строителей смотрит на меня в окно. Меня едва ли не с первых проблесков сознания мучительно интриговал тот факт, что он — точное, зеркальное повторение нашего, Четвёртого. Это было живое инобытие — конечно, страшное. Вдруг там и внутри — не оставляла мысль — всё повторяет наш дом, в точности, но как-нибудь наоборот? Вдруг там живём *вторые мы? вторая я!* — с которой я в детстве почему-то очень боялась встретиться. Это чувствовалось глубинно родственным смерти — от которой, от мысли о которой тема близнечества была почему-то неотделима.

До сих пор один из сквозных сюжетов сновидений — Дом Шесть и его неожиданные, вдруг открывающиеся внутренние пространства (и внутренние времена: именно оттуда ведут ходы в пятидесятые, шестидесятые годы, почему-то вдруг в XIX век, в самую глухую и надёжную его середину...). Со своими мёртвыми я встречаюсь во сне чаще всего именно там.

Зелёное

С детством, со всем целиком — определяющим образом связан у меня зелёный цвет: тёмно-зелёный, глухо-зелёный, пасмурно-зелёный, как тёмный еловый лес августовским вечером; неудобный и холодный зелёный. Таковы в моей памяти 1970-е годы, на которые оно пришлось. Для меня это годы — и цвет — медленного времени, почти стоячего, как вода в пруду.

Тёмно-зелёным был лес вокруг дачи, где я не любила жить и где тем не менее меня держали всё лето (только чтением и спасалась!), — зелёным, полным внутренних темнот, был и дачный дом. Тёмно-зелёным был «изнутри» окрашен для меня и номер дачи: 17! Дома, в московской квартире, в этом средоточии *красного* — мои взрослые почему-то со странным постоянством все 70-е годы напролёт предпочитали зелёные обои. От их зелёного цвета было холодно и жёстко.

Всё детство не хватало ярких, насыщенных, тёплых красок в ближайшем — и не только в ближайшем — предметном окружении. Это был род сенсорного голода, и воплощением этого голода был *зелёный* — почти во всех его оттенках.

Зелёный — цвет одиночества и несвободы. То были одни из главных чувств детства, состояния во многом неуютного. Это цвет обступавшего меня «взрослого» мира в аспекте его чуждости мне и равнодушия ко мне. Конечно, «взрослый» мир умел быть и совсем другим — захватывающе-интересным! Но тогда он уже был ярко-оранжевым, интенсивно-тёпложёлтым, пронзительно-голубым.

Запахи

Дача, мир *зелёного*, была миром запахов — сначала запахов, а потом уж зрительных форм. Так остро и разнообразно, как в Челюхе, в Москве не пахло никогда.

Каждый из запахов был огромным знаком без чётко фиксированного значения — и с множеством значений сразу. Каждый вёл далеко. От каждого запаха, от каждой, дремавшей в самой себе, вещи лучами расходилось в разные стороны множество направлений.

Детство и лето — *настраивающие* запахи: хвои, коры, дыма от костра, пропитанного этим дымом воздуха, всегда немного сырого и немного холодного. Острые, всегда с тревожной нотой, запахи трав; немного прямолинейные запахи листьев. Запахи спелого, пропечённого солнцем дня, клонящегося к вечеру, всегда с ноткой грусти о том, что «этого больше не будет». Запахи глубины и округлого, уворачивающегося внутрь простора. Дом, глубокий, как колодец, в котором все вещи старше меня: вещи с тёмной древесной, грибной памятью. Вещи, более близкие к природе, чем к культуре; вещи-посланники других времён. Во всём этом есть что-то немного страшное: они — посланники времён-до-меня; помнящие мир без меня, реаль-

ность моего небытия. Небытие, домашнее, но от того не менее жутковатое, глядит из этих вещей на меня круглым глазом. Потрескивание дров в печи, родственное самому времени. Все звуки здесь укладывались во внутренние структуры времени с величайшей естественностью, будто были его естественной частью. Медленное, слоистое, горизонтальное время. Время-гриб, плавно нарастающий на крепком, надёжном, кривом, шершавом дереве вечности. «Слово для леса и мира одно» (Урсула Ле Гуин — шершавое имя из детства).

В распахнутую дверь челюскинского дома приходили запахи, обещавшие Мир. Обозначавшие его огромность. Запахи перегретой солнцем смолы, досок дома, пыли-памяти — памяти о том, что-было-когда-меня-не-было. Мокрой после дождя земли. Взаимопрорастание и единство запахов природы и культуры, их глубокое родство, мнящееся разностью лишь на поверхности.

Запах разогретой травы, крапивы, земляники, горячей земли — запах вечности. Детское огромное, шарообразное лето — оно ведь вечно, оно ведь никогда не пройдёт, сколько бы раз ни кончалось. В нём всё так, как будет всегда.

Запах костра — особая разновидность запаха дыма. Это — запах надёжности, уюта, плотности существования, почти вне-временности его. Это запах — как ни странно — из *замыкающих* (в небольшой — то есть довольно просторный, но вполне обозримый шар) и *останавливающих* (потому что выключающих из времени). Странно — потому, что обычно запах дыма, особенно сигаретного или костра вдали — *размыкающий, вытягивающий*, с ноткой бесконечности внутри. Так, размыкаясь, пахли костры позже — в пионерских лагерях. Дачный — замыкал.

Запах дачной сырой земли — с еловыми и сосновыми иголками, с выступающими из-под почвы корнями, с вечно недопрорыхляющей сыростью — запах сурового, тёмного аспекта детства, той его начальной части, когда оно своей изнанкой

ещё тесно-тесно соприкасалось с небытием. Но то был запах не смерти, а именно жизни: запах того, что жизнь темна, страшна и чужда. Что она дика и неприручаема в своих основах. С возрастом это забывается. И в Москве — уже тогда — забывалось.

Слова

А ещё в Челюхе особенно, по-дачному, гудели слова. В Москве они тоже знали меру. Здесь — выходили из берегов, дичали, вели себя разнузданно. Из них хлестали неприрученные силы.

Так влажно покачивалось, вогнутое, само слово «дача». Так щёлкало и свистело, и увёртывалось на мокрой от дождя ветке, и рассыпалось тысячами солнечных, ледяных брызг само слово: Челюха, станция Челюскинская (в слове «станция» — протяжный цокот и гул колёс, постукивание неведомых механизмов).

Слово «правление» применительно к даче (но только применительно к ней; то было правление дачного кооператива на свистевшей и задыхавшейся своим астматическим названием улице Блюхера) мне и сейчас устойчиво пахнет дымом, хвоей, сырым холодным воздухом. Скрипом туго открывающейся калитки (ещё одно холодное, скользкое слово). Глинистой дорогой, развезённой дождями, которую преодолеваешь с усилием: она сопротивляется ногам. И в этом сопротивлении чувствуешь, как под ногами проворачивается земля. Медленное слово, влажное и важное. Блестящая кора дерева — непременно хвойного, лучше всего сосны (она добрее!) — после дождя.

Вечность

Дача вообще была формой соприкосновения с вечностью.

То, что меня угораздило быть одиноким книжным ребёнком, мучительно, до физического неудобства, не умевшим играть с другими, а на даче ещё и извлекавшимся из привычных вынужденных форм общения типа детского сада и прогулок на площадке, только способствовало этому: золотая мишура и мельтешение игр не могли загородить от меня, выставленной большому страшному Бытию, крупных, предельных вещей этого Бытия.

Вполне возможно, я домыслила и дочувствовала это потом (в конце концов, всякий раз, вспоминая что-то, мы вспоминаем не только и не сколько само прошлое, сколько собственные, всё более от него отклоняющиеся, прежние воспоминания о нём) — но сейчас, вот сию минуту мне помнится так, что одним из самых отчётливых — даже, кажется, не страшных, настолько отчётливых и неопровержимых — образов обречённости и незащитности человека стал для меня прямолинейно-ясный, плоско- и беспощадно-ясный июньский день, наблюдавшийся из окна террасы: белое стоячее облако во всю правую половину видимого неба и до черноты синее небо в его левой видимой стороне. Было как-то слишком очевидно, что всему этому до меня нет никакого дела, не может быть, не будет никогда. В этом была совершенно недетская тоска — а пожалуй, как раз именно детская, потому что дети ещё не умеют защищаться — падают во всякое своё чувство с размаху.

Дождь всегда (он и сейчас таков!) был добрее, антропоморфнее, понятнее. Он стучал по крыше, шептал, бормотал, дышал, создавал человечески исследимые ритмы в живом, сплошь шевелящемся пространстве.

Многомирье. Коробка Расходящихся Пуговиц

Да, мир был один. Но было и многомирье. Их, *одних*, было, должно было быть, не могло не быть — много. Непредставимо много. Непредсказуемо много.

Первым из обликов этой ведущей, едва ли не навязчивой внутренней темы детства — была Большая Коробка С Пуговицами.

Каждая пуговица была тайным знаком, иероглифом неведомого свёрнутого высказывания, зародышем миров. Больше всего почему-то будоражила идея — скорее чувство — множества возможных ходов из этого мира в какие-то другие — и представление о том, что если очень-очень захотеть, туда можно уйти. Наша Большая Коробка была местом, откуда расходились пути. Вообще-то она была жестянкой из-под новогоднего подарка, вручённого моей матушке в её детстве на ёлке в начале 50-х (ею и осталась: цела! Только пуговицы из неё переселились, и сейчас там живут всякие хозяйственно-технические штуки. Наверно, это другие пути — в другие миры). По ней шествовали сказочные персонажи (мишки и зайчики в человеческой одежде, ничего особенного) — и все они были жителями других миров, миров-где-всё-по-другому.

Очень похоже на то, что вместе с человеком всю его жизнь живут, вместе с ним преображаясь, но никуда не деваясь — в качестве констант — некоторые базовые мифологемы, сквозные, всё организующие темы внимания и воображения. Из собственных я сейчас ясно осознаю идею многомира и проникновения из одних миров в другие; а также идею о том, что видимое — «на самом деле» не то, чем оно предстаёт глазу, и в любой момент может обернуться чем-то во все неожиданное (по всей вероятности, страшным, во всяком случае — обескураживающим, потому что я уж наверное окажусь к этому неподготовленной. Это — характерный тип событий во сне, например). Эти идеи проецировались буквально на любой материал — а может быть, и теперь, с разной степенью интенсивности, чувствуются в любом материале. И письменные приборы, и книги до сих пор чувствуются именно так: ручка — ключ, которым я могу открыть какие-то двери; может быть, такие, которые открываются только им

и, не будучи открыты — исчезают, зарастают. Книга — дверь в другой мир, которая именно этим образом откроется только для меня.

Значительное

Павел Флоренский писал, что в его детстве предметом внутреннего замирения и внимания было *особенное*. У меня таким было *значительное*.

Особенным было, кажется, более-менее всё — по крайней мере, до школы (которая, однако, что-то такое упрощающее, «расколдовывающее» делает с человеком, даже если этот человек совсем не так социален, как сам хотел бы быть). А вот *значительное* — оно выделялось на общем фоне каким-то повышением внутреннего веса, будто внутри у каждого из таких впечатлений был грузик-магнит.

Детство вообще вспоминается сейчас как запас значительности: чувства значительности мира, которое тогда осуществлялось едва ли не на любом материале очень даже щедро, в силу особенностей не столько материала, сколько внутренней оптики. Один из верно всплывающих образов «немотивированной», но очень убедительной и глубокой значительности мира — пасмурный октябрь 1972 года, рыжие листья, мелкий дождь по дороге из школы, — глубокая, округлая налитость предметов медленным и бесспорным смыслом — таким, который вовсе не нуждается в словесном формулировании. (Потребность в словесном формулировании, и настоящая, пришла чуть позже, а то был первый класс.)

(Если всё-таки очень надо вспомнить, чем был маркирован именно этот октябрь первого школьного года, я бы вспомнила огромную кучу макулатуры, собранной и сваленной у школы более старшими классами. Это было сносящее крышу, сияющее, цветущее, тёмно-волнующее богатство мира — нет, многомирья! — книги, которые можно было, пьянея от счастья, из

этой кучи вытащить и закинуть себе в портфель. Я уже давно не помню, что именно я оттуда вытащила тогда, но чувство пьянящего богатства и прикосновения к чему-то намного меня превосходящему помню по сию минуту. — Скорее всего, это структурировало вокруг себя и воспоминание о том октябре в целом.)

Может быть, благодаря этому детскому первозамиранию перед миром мы вообще знаем, что такое *значительное*. Оно даёт нам — ещё прежде его имени — матрицу для его переживания.

Окуджава. Звуки

Окуджава, гудящее имя, имя-понятие. Завораживал в детстве. «По Смоленской дороге» — совершенно метафизическая песня с маленькой пластинки, окрасившая для меня на всю жизнь вперёд город Смоленск — тогда ещё не виданный, и виданный потом, и ещё позже вспоминавшийся — глубоким, глубоким синим цветом. И не в Смоленск, конечно, вела эта дорога с двумя холодными звёздами над ней (а страшно как!), пропетая мне в начале семидесятых, а может быть, и в самом конце шестидесятых, — о, она вела к чему-то такому, о чём лучше было не думать. Вообще-то я всерьёз подозревала в детстве, что — к смерти.

Совершенно серьёзно мне кажется, что эти песни уязвили меня метафизическими корнями реальности, создали у меня — ещё тогда, в сумерках раннего детства — некоторое, рискну сказать, предрелигиозное восприятие мира. Вот именно эти: «По Смоленской дороге», «Песня о Лёнке Королёве», «Ах, Арбат мой, Арбат», «Полночный троллейбус». В детстве, конечно, к этим корням отсылало очень многое — а едва ли не всё, пожалуй. И всё-таки, всё-таки — не всё в равной мере. Даже — не всё непонятное (а Булат Шалвович цеплял тем, что был грустен и непонятен).

Была ведь в том же самом детстве, в том же наборе родительских пластинок, того же формата маленькая пластинка совсем непонятного, на непонятном языке («французский» — сиреневое крошечное, на острые крошки рассыпающееся слово) певшего Сальваторе Адамо: неминуемое «Tombe la neige», «Мы», «Будь красива, как роза» «Маленькое счастье», «Разрешите, месье» (по сию минуту помню, можно даже не проверять: эта пластинка где-то здесь живёт до сих пор — как и тот Окуджава). Очень завораживало — но было ясно уже тогда, что ни к чему глубокому, не вполне прояснимому, тёмному — это отношения не имеет. Адамо с Окуджавой несомненно принадлежали к принципиально разным пластам переживания реальности. Адамо был похож на упругий мячик — опалово светившийся изнутри, но всё равно только мячик, — хотя и грусть в нём была, и пронзительность, да много чего в нём было! — но под него хотелось подпрыгивать, — а Окуджава — на мир: он был так же безграничен, его границы терялись в темноте. Под него прыгать уже никак не хотелось, а хотелось внутренне замирать. Что я и до сих пор делаю.

Сухое и влажное. Соки бытия

В начале жизни (острее всего, пожалуй, лет до семнадцати), чем бы ни приходилось заниматься, всё волновало как соприкосновение с самой материей жизни, с самим её веществом, просто принявшим для удобства понимания тот или иной облик — от, скажем, пластилина до, например, контурной карты. В каком-то очень осязаемом смысле не было вообще ничего случайного: от всякой мелочи тянулись чувствительные нити к Большому Целому (пишу я его с больших букв всего лишь потому, что, чувствуется мне, это — имя собственное). Вообще, чувство Целого было очень острым — и одним из ведущих: это оно окликало меня голосами всего. Настоя-

тельнее прочего — пожалуй, голосами запахов; но вообще — всего, всего.

Через всякое занятие проступала — и пальцами чувствовалась, светилась сквозь них — живая плоть бытия; всякое занятие было в той или иной степени «влажным» — сочилось его соками. «Сухих» занятий почти не было (самым «сухим», осыпавшимся шелухой, была, пожалуй, школьная математика; но своя влажность была и тут: цифры на ощупь, когда их пишешь рукой). Я до сих пор делю внутри себя занятия на «сухие» и «влажные»; «сухих» с годами немного прибавлялось, но надо признать, что мне очень посчастливилось — «сухого» удавалось избегать почти вовсе. Кажется, это очередное доказательство того, что полнота жизни (а цель тут — именно она) требует, как по видимости ни парадоксально, некоторых — а то, пожалуй, и существенных — ограничений. Да я и старалась. По сей день стараюсь.

Вот это чувство светящегося и влажного вещества жизни под пальцами и того Целого, которое в нём дышит — из того ценного в детстве-юности, что очень хотелось бы хоть в какой-то мере сохранить. Когда оно возвращается теперь — это проливает молнией счастья.

Не кончается

А теперь самый важный вопрос: когда же, собственно, кончилось само детство? На чём стоило бы остановить рассказ о нём и провести границу?

А оно не кончилось. Вообще. Много чего кончилось, а оно — нет. Оно продолжается и сейчас.

Ортопедия смысла*

Маршрут каждый день — когда вообще куда-то выходишь — практически неизменный. Настолько, что по нему можно передвигаться едва ли не с закрытыми глазами, ориентируясь по запахам да по едва заметным вмятинам и выпуклостям в общем телесном чувстве. Из подъезда — направо, потом налево, потом через полтора двора, потом наискосок через рощу — и по прямой, к ритуальному кругу лотков и лавок у метро. Они там так давно, что каждый простодушно принимает себя за естественную часть структуры самого пространства.

Купить хлеба, молока, яблок, помидоров-огурцов, воды в бутылках. Вернуться тем же перемотанным назад маршрутом, прочувствовав по обыкновению каждую его зазубринку и шероховатость. Заварить чай. Положить мясо размораживаться. Вымыть посуду...

Нет, это понятно, что всё самое главное и живое делается за письменным столом. Но боже мой, какие плотные, объёмные массивы повторения, формальных рутинизированных действий выросли на этом тоненьком стержне. Куда столько?

Идёшь на работу — там свои ритуалы, включающие сложносцепленную дорогу, длинный Павелецкий вокзал, громоздкие переходы, собирающие рассеянное внимание переходящего — да и всю его рассеянную жизнь — на манер паззла,

* Впервые опубликовано: Рабкор.ру: Интернет-журнал. = Суббота, 19 сентября 2009. — 10:29 = <http://www.rabkor.ru/authored/3886.html>

свинчивающие его в причудливо-точную конструкцию. Лестница вниз, лестница вверх...

В отрочестве ужасала мысль, что вот «вырасту и придётся делать каждый день одно и то же». Кошмар какой, да где же после этого будет настоящая жизнь. Как эти взрослые живут? Живут ли они вообще?

(Конечно, нет, — спешил подсказать внутренний голос, — ведь живёшь только тогда, когда всё время растёшь и меняешься.)

Думалось: человек, конечно, начинает стареть тогда, когда начинает повторяться. Когда объём «повторений» начинает отчётливо превышать объём всего остального.

Тогда имелось в виду, конечно, прежде всего повторение на уровне мыслей и вообще внутренних событий, на уровне качества (да, пожалуй что, и количества) внутреннего движения. Но и не только: как же можно — думалось — не сгладиться, не стесаться, не изничтожиться совсем, когда изо дня в день тупо выполняешь одну и ту же последовательность внешних операций? А хоть бы и не тупо: всё равно, повторяешь ведь!

Ведь в состав и сущность так называемой повседневной жизни повторение как раз входит не просто неустранимым — образующим компонентом. И как только началось «сведение» нас к повторению — тут же началась и старость. Это как листья, вначале зелёные, рано или поздно желтеют да и облетают с веток, так и всё неповторяющееся в нас рано или поздно желтеет и облетает — с чёрной, жёсткой, устойчивой сетки повторений, на которой и держалось. Остаётся только она. И как только осталась она одна — вот уже и сама смерть.

Один из несомненных признаков взросления (оно может хоть всю жизнь продолжаться, да) — изменение отношений с повседневностью. Не просто в том смысле, что ею приходится как-то заниматься, потому что никто другой «всего этого» за нас не сделает. Нет, происходит кое-что поинтереснее: открытие её как полноценного и сложного смыслового мира — в котором, более того, всё главное как раз и происходит.

Оно там собирается и выращивается. Разворачивается.

События «критические», пиковые, чрезвычайные только дают толчок к этому, поставляют материал. Повседневность — смысловой желудок, в котором всё переваривается с извлечением и впитыванием жизненных соков — столь же незаметным, сколь тщательным. И повторяемость её структур (сугубо, кстати формальная: ибо всё, что делается больше одного раза, всякий раз делается по-разному. Формальная повторяемость — лучшая форма прироста опыта) — как раз то, что для правильного переваривания и глубокого усвоения нужнее всего.

Ничто так не освобождает, как повседневное, повторяющееся и рутинное. Чем больше повторяется — тем больше и освобождает. Тем больше оно, само собой воспроизводящееся, забирает на себя работы по обеспечению устойчивости — и можно всю внутренне жить тем, что ко всем этим обстоятельствам и подробностям не имеет ни малейшего отношения.

Оно образует поддерживающую нас сетку, чтобы мы в бездну не провалились — а то ведь мы это запросто. Она — простейшее упорядочивающее — оберегающее от хаоса — начало.

Изо дня в день повторяющиеся дороги собирают и держат в целостности разлетающееся вещество жизни, приращивают друг к другу её разнородные и своевольные элементы.

Внутри тесно сплетённого повторениями кокона можно заниматься чем угодно. А им самим можно не заниматься вообще. Разве это — занятия: купить хлеба, заварить чай, протереть пыль, вымыть посуду?

Этими движениями мы никакой не «порядок» наводим (да о каком порядке вообще может быть речь, когда, как сказал классик, «только вымоешь посуду — глядь, уж новая лежит»? Кому как, а по моему разумению, это сама энтропия). Нет, мы уточняем и шлифуем самих себя — те самые стёкла, через которые можно рассматривать Главное. А через что ещё на Него смотреть?

Уборка квартиры, готовка еды — приведение вещей в новый порядок — совершенно полноценные способы прожить ту странную вещь, которую, не умея её определить точнее, назвали «смыслом жизни». И это особенно ценно: не только умозрительно постичь (тем более, что с умозрительной формулировкой такой глобальной вещи, как «смысл жизни» — если избегать упрощений — есть большие трудности), но именно прожить его физически: приобщиться к предмету понимания всей полнотой собственного существа. Не так ли и происходит всякое настоящее понимание — «всем существом», а умозрительные построения — не только ли следствие этого, не результат ли (неизбежно огрубляющего) перевода на более-менее рациональный язык того, что происходит в полном объёме нашего существа?

Повседневность — ортопедия смысла. Терпеливое накопление, наращивание, проявление того, что приоткрывается нам в чрезвычайных событиях — на разломах бытия, когда наружу вдруг вываливаются, как кишки из вспоротого брюха, те потайные связи и механизмы, которым «в норме» надлежит быть скрытыми. Шлифовка того, что было в этих разломах добыто: грубого, горячего, дикого. Заботливое выпрямление его, изломанного катастрофой, которая вынесла его на свет.

Оно так дико и горячо, что не затем ли человек и отращивает себе повседневность в таком обескураживающем, казалось бы, избытке? — чтобы у Главного, Чрезвычайного были и время и пространство для остывания — и спокойного впитывания в жизнь.

В чрезвычайных событиях — в обнажённости структур бытия — есть что-то нескромное, бесстыдное, неприличное. Повседневность одевает Главное пёстрыми пустяковыми одежками — и делает его переносимым.

Нет ничего более противоположного косности, чем повседневность. Косны, крикливы, навязчивы, агрессивны скорее уж Большие События. Она же исключительно чутка и пластична — куда более, чем, скажем, Высокие Идеи: ведь именно

ей предназначено всё (те же Высокие Идеи) адаптировать к человеку, вращивать их в человеческие структуры — обживать, делать своим. Именно повседневность с её ритуалами даёт человеку силы существовать внутри катастроф. Она — жизнь «с человеческим лицом», пласт бытия, примиряющий нас с миром и примиряющий нас к нему.

Она — среда, позволяющая людям чувствовать друг друга. (Опять же не заставляющая — но лишь дающая возможность. Кто не воспользовался — она не виновата.) Она — Большое Чувствилище. Быт, традиционно-романтически проклинающийся юными людьми (что тоже нормально: надо оттолкнуться и взглянуть извне!) — просто идеальная — если его как следует использовать: ведь повседневность инструментальна! — совокупность щупалец, которыми мы можем протягивать другому кусочки бытия — нужного размера. Они хорошо приспособлены для дозировки. Прогреть — или остудить — бытие до нужной температуры. Быт — система тонкой настройки, «тюнинга» бытия (даже Бытия) под нас. Собственно, быт — это область диалога с Бытием: мы Ему — своё, Оно нам — своё, и всё это — на таком языке, который более-менее понимают оба участника.

Два основных режима жизни человека, не мыслимых друг без друга, влекущихся друг к другу: оберегание и разрушение. Первое в конечном счёте иллюзорно, совершенно очевидно обречено — и тем ценнее. Второе произойдёт и так. Можно даже не беспокоиться.

Повседневное существование — работа бытия. Даже так: его лаборатория, место его выработки и выделки. В нём, конечно, каждый из нас ответствен за само Бытие, за его качество и количество. Но повседневность милосердна — она позволяет нам рассеивать внимание по мелочам и не содрогаться перед неподъёмностью этой задачи. И стоит нам про её неподъёмность и огромность забыть — тут-то она как раз и начинает по-настоящему делаться.

Главное (оно же — Живое и Настоящее) всерьёз происходит тогда, когда происходит внутри, в глубине. Не вопреки

повседневности, а как раз благодаря ей — под её толстой, греющей и защищающей шкурой: течёт и животворит, как кровь в большом и многосложном организме. Где же вы видывали кровь, бегущую просто так, без своих жил и костей, жировых прослоек, шелушащейся кожи? Если она помимо — это уже беда, дорогие мои.

Различие между (интенсивно) организованной и неорганизованной или неявно, слабо организованной жизнью сопоставимо с различием между стихами и прозой. Ведь зачем стиху ритмическая организованность? Затем, например, что она маркирует значимость сообщения, «весомость» высказывания, повышенную соотнесённость происходящего на этом участке речи с Существенным (что бы под этим последним ни понималось!). То же и с организованной жизнью: своими — более, чем у жизни не-организованной, напряжёнными — мускулами она вернее ловит Существенное и надёжнее его удерживает, чем жизнь расхлябанная, разболтанная, с пустотами.

Так что повседневность — это как раз стихи. А Чрезвычайное, ещё не ведающее своих ритмов — сплошная и непричёсанная проза. До стихов она дорастёт, когда превратится в повседневность.

Именно поэтому лучшее, что мы можем сделать для Чрезвычайного и Главного — это купить хлеба, молока, яблок, помидоров-огурцов, воды в бутылках. Заварить чай. Положить мясо размораживаться. Вымыть посуду.

По буквам*

А всё-таки в жизни есть ни с чем не сравнимые радости, не отменяемые никакими биографическими и историческими обстоятельствами. Вот идёшь к метро и знаешь, всем телом чувствуешь: а в рюкзаке у меня — книжка. И сейчас мы с ней останемся один на один.

Тащишь в рюкзаке кусок свободы и безграничности, персональную кислородную подушку, личную машину времени-пространства, запасной, в твоё безраздельное пользование отданный мир. Уже на эскалаторе раскрываешь книгу, запускаешь себя в эту параллельную жизнь — и плывёшь в её горячем облаке, набираешь неисчерпаемый опыт человека-амфибии, двумирного существования. И глупо спрашивать, какой из этих миров более настоящий: понятно, что оба. И даже так: они настоящие только вместе, во взаимоприсутствии и взаимотражении. Без книги никогда так остро не почувствуешь «внекнижного» мира, от которого — в неё — якобы уходишь. Чем больше уйдёшь — тем полнее чувствуешь. Книга — это такое универсальное чувствилище.

У читателя с текстом — заговор: против всего, что не входит в их отношения. Но что в них, собственно, не входит, если вмещается в них весь мир? Совершенно как в интенсивно прожитые отношения с человеком: весь мир, просто увиденный под некоторым единственным углом зрения и вмещённый в не-

* Впервые опубликовано: РабКор.ру: Интернет-журнал. — 24.10.2009 | 11:20 = <http://www.rabkor.ru/authored/4095.html>

которую единственную, подробно и благодарно осязаемую форму. Этот шрифт, этот корешок в руке, эта шероховатость бумаги, её плотность, цвет и запах, её упругость под тонким жёстким грифелем делающего пометки карандаша (а как без этого? взаимодействию с текстом так хочется быть активно-диалогичным!)... Текст требует чувственных отношений с ним, да. Даже самый умозрительный.

Именно — текст, который, как известно и как ни странно, почему-то шире книги. Мысль о том, что возможно интимное единение не только с бумажной книжкой в переплёте, обескураживает лишь на первых порах. За этим следует радостное открытие того, что, оказывается, электронная читалка способна создавать чувство такого единения и личного обладания ничуть не меньше книги, а даже и больше. Ведь по её обложке никто не догадается, что мы там на самом деле читаем. Мы можем поставить в ней — и задать вроде бы чужому изначально тексту — любой милый нашему глазу шрифт, придать ему собственный облик — а это уже почти как собственной рукой переписать (а что, была, была в юности такая разновидность интенсивного чтения: особенно любимое непременно надо — собственной рукой, чтобы вошло в систему движений, вросло в физиологию).

Вот тут-то и подумаешь, что «чтение» — куда более широкая функция человека, чем обращение с книгами — а пожалуй что, даже и с текстами. То есть — с теми, которые из букв.

Мы можем проецировать эту способность на что угодно — работать этой техникой с разными материалами: с образами, с запахами, с городом, с небом, с лесом, с другим человеком... Это такая разновидность восприятия: рассекающая предмет, не теряя его цельности, на знаки — которые, в свою очередь, отсылают к реальности более глубокой и более далёкой. Так, собственно, и поступают значочки на книжных страницах и электронных экранах, известные нам под именем букв.

Буква — не универсальный ли это образ элемента мироздания? Архетип, если угодно.

Книги, конечно, некоторым особым образом культивировали — и продолжают культивировать — эту способность на протяжении нескольких культурных эпох европейской истории. Но даже если книга, как нам давно уже обещают, однажды уйдёт с исторической сцены, чтение непременно изыщет себе другие носители.

А типы культур, может быть, различаются ещё и по тому, какой из видов чтения в каждой из них доминирует. Когда-нибудь это должно быть осмыслено.

Тем, что книга исчезнет, а люди перестанут читать (и вследствие того, разумеется, одичают и упростятся, утратят внутреннюю самостоятельность и критическое отношение к реальности), нас пугают уже не первое десятилетие. В пользу этого даже находится масса аргументов: ну да, вместо чтения смотрят кино, вместо серьёзных текстов читают ерунду, не знают классики, перестали видеть в работе с книгой центральную и человекообразующую культурную деятельность, гипертекст пожирает текст, автор умер, читатель последовал за ним... Но что, если чтение всего лишь очередной раз меняет облик?

Человек — он вообще, по определению, *homo legens*: человек читающий. Он таким образом структурирует свой мир. Особенно человек письменных культур — впрочем, разве кто-нибудь, когда-нибудь создал бы какую-то письменность вообще, не будь в человеке этой «читающей» установки внимания?

Рискну сказать: чтение — это антропологическая константа. То есть: устойчивое человеческое свойство, присущее — хотя бы как возможность — всем принадлежащим к виду *homo sapiens*.

То, что чтение буквенных (ну или, скажем, иероглифических) текстов стало восприниматься как привилегированная и даже чуть ли не единственная форма чтения — в сущности, историческая случайность. Положи мы в основу собственной жизни — и разработай до сколько-нибудь сопоставимого совершенства — чтение, скажем, совокупности явных и неявных

сигналов, исходящих от человека и природных объектов — мы имели бы другую цивилизацию.

Что до письма, то — не разновидность ли оно чтения? Просто оно — чтение собственной рукой. И — того, чего до нас ещё никто не написал. Но собирает мир оно точно так же: по буквам.

Письмо — это продолжение чтения «другими средствами», притом продолжение усиленное: не затем (в первую очередь) стоит писать, чтобы сообщить что-то городу и миру, особенно при том, что понаписано уже слишком много всего, но затем, чтобы лучше усвоить читаемое (в общем-то и проживаемое; впрочем, разве проживание мира не есть его прочитывание?), чтобы собрать его в себе в цельность, нащупать в себе центр, вокруг которого оно может быть структурировано и пронизано общим смыслом. О собственно прочитанном — и из него — в наших писаниях при этом может не быть решительно ни единого слова: оно присутствует в нас при этом неявно, определяя темы и угол зрения на них.

В общем, понятно, что это всё — типичная аутопластика (изменение себя) и, в конечном счёте, старый добрый аутопойесис (самоделание, изготовление себя). В первую очередь это, конечно же, относится к писанию книг — но, думаю, и ко всякому писанию вообще, даже если это запись о том, что мы сегодня делали и чего не сделали. Просто в случае книг «структурная принудительность» сильнее.

А всякие культурные и, страшно подумать, общезначимые смыслы — это побочный продукт.

Чтение вообще (в том числе и такое, когда оно — письмо) — это способ работы с двумя коренными разновидностями бытия: с *чужим* и *своим*, проведения границы между ними, смещения этой границы, превращения одного — в другое.

Чтение — вещь магическая. Мне, например, и по сию секунду странно, почему оно, столь явно родственное бессмертию (проживание многих времён и жизней внутри собственной — разве это не форма бессмертия?), не прибавляет человеку жиз-

ни прямо физически — почему нельзя «начитать» себе ну если и не струльдбружеское бессмертие, то хотя бы просто дополнительное время бытия — которое постоянно прибывало бы, пока педали крутишь, то есть читаешь. Легко воображаю себе мир, в котором это было бы возможно: где чтение работало бы генератором времени. Почему нет, если оно уже умеет быть генератором внутренних пространств?

Чтение, конечно — разновидность самоутверждения. В некотором смысле даже — торжества над реальностью, подминания её под себя (да какая разница, насколько иллюзорного, — главное, что соответствующее чувство у нас *есть!*). Если мы переживаем что бы то ни было как чужое, чуждое, недоступное, не вмещающееся в нас, — самое верное — прочитать об этом: и таким образом — прожить его изнутри, интериоризировать, присвоить, сделать частью себя. Даже — создать его самостоятельно, из собственного внутреннего материала: ведь прочитанное — в отличие, скажем, от показанного нам в кино — мы видим так, как это свойственно только нам.

Эдак недолго и утратить чувствительность к разнице и дистанции между своим и чужим — и уважение к ней.

Так что, знаете ли, вообще я бы это самое чтение не слишком идеализировала. У него есть и тёмные стороны (а вот именно потому, что оно — коренная человеческая деятельность и, значит, проецирует на себя всего человека, а не только его светлый и конструктивный разум).

Например, потому, что многочитающий — несомненный агрессор. Пожирание книг — экспансия, разрастание (в идеале — неконтролируемое и беспредельное, — уж не патологическое ли?) области «своего».

Другая его теневая сторона — это, конечно же, страх перед неосвоенным, неприсвоенным, неподконтрольным миром, от которого не знаешь, чего ждать. Когда запикиваешь это неосвоенное в себя глазами через буквы — тем самым, даже если сопротивляешься, — уже потихоньку обзаводишься успокоительной иллюзией, что это — «своё» — и, в качестве

«своего», разумеется, не обидит, не подставит, не предаст, не уязвит.

Вот тут-то и окажешься — уязвимее некуда. Тут-то оно тебя тёпленьким и возьмёт.

Любое кино, любая живопись, даже любая музыка действуют на нас извне — потому что разворачиваются как события прежде всего во внешнем мире. А в чтении буквы — только повод, только начало. Всё самое главное происходит внутри — и нашими же собственными силами. Оно проникает нам в самую сердцевину.

А представляете, что начнётся, когда человечество, изведя все леса на бумагу и отчаявшись угнаться за всё быстрее и быстрее сменяющимися друг друга поколениями всё более навороченных электронных читалок, изобретёт наконец способ загрузки читаемых текстов прямо в мозг, минуя всяческие материалы-посредники и изготавливая смыслы этих текстов прямо-таки целиком из материала заказчика? Вот куда мы тогда денемся? Вот будем тогда оплакивать прекрасную эпоху, когда люди были свободны, потому что вместо чтения смотрели комиксы и играли в компьютерные игры!

Но чего стоят все эти воображаемые перспективы и невообразимые ужасы в сравнении с тем сочно-осязаемым, прекрасно-неотменимым фактом, что вот идёшь к метро — а в рюкзаке у тебя книжка? И сейчас ты с ней — на всю долгую-долгую дорогу — останешься один на один!

О непроходящем:

изготовление прошлого*

Тело памяти. Библиоалгия

Разгребаешь книжные пласты, ищущи книгу, о которой даже не помнишь, есть она у тебя или нет. Помнишь только внешний вид, отыскиваешь взамен того её сестру по серии. Тут же возвращается, будто и не исчезало никуда: раннее, режущее начало девяностых, забытая и очень памятная лавка «Интербук» у Исторической библиотеки, в глубоком подzemелье — что волновало особенно. Да где же эта книжка, Господи? — Причём даже читала, помнишь точно — но уже не вспомнить, своя она была или чужая, ибо перечитано было и того, и другого, и всякого на незабвенном рубеже восьмидесятих-девяностых в нерационализируемом и дико-во-все-стороны-торчащем избытке.

Книга — тело памяти. Личное книжное скопище — точнейшая запись ушедшей жизни. Имени «библиотеки» оно не заслужило, это слово — о другом. Библиотека, особенно крупная, даёт совершенно противоположный опыт: опыт приведения всего твоего существа в большой стройный порядок, спокойный, суровый, несуетный, просторный, — опыт вневременного. Она космична. А домашнее многокнижие, слепок с твоей хаотичной, будь она неладна, личности и личной истории, окунает тебя с головой, как котёнка, в твои соб-

* Впервые опубликовано: *Mixtura verborum* 2013: время, история, память : философский ежегодник / под общ. ред. С. А. Лишаева — Самара : Самар. гуманитар. акад., 2014. — Стр.42-50. = <http://www.phil63.ru/oprokhodyashchem-izgotovlenie-proshlogo>

ственные темноты и провалы, надежды и иллюзии, в их режущие осколки.

Щупаешь книги, рассматриваешь их, обнюхиваешь (даже неважно уже, что именно ты при этом ищешь, — Бог с ним, нужную цитату можно сыскать хоть в той же Историчке, а собственной жизни и памяти нигде, кроме как дома на полках, не найдёшь), отдаёшь себе отчёт в том, что комками, большими сырыми комьями начитанное тогда — никакое не образование и, в общем-то, не за тем читалось. Это всего лишь, спроецированный на книги, тяжёлый и слепой витальный избыток, тёмный эрос. Того же порядка эрос, что отвечает за отношения со всем мирозданием, разве что — со всем сопутствующим человеческим мусором, злой суетой. Например, с жаждой самоутверждения, включая вполне мелкие амбиции типа желанья производить впечатление и выглядеть гораздо интереснее, а ещё лучше того — значительнее, чем NN, QQ или ZZ; с изживанием недостаточностей и уязвлённостей, и т.п. Это — такая боль, пережитая в книгах, в форме их чтения: библиоалгия, алгобиблия.

И, с отворачиванием читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю.

А пережить это снова? Да. Хотела бы. И, по существу, уже переживаешь — сейчас.

И тут-то, посреди книжного развала, книжной (сладкой, сладкой!) пыли, бессилия и досады на фатальную неорганизованность собственного существования, всё прожитое в те годы нежданно берёт да и схлопывается в цельность. Собирается в картинку, обретает форму — становится полноценным прошлым. Вдруг понимаешь, зачем всё это было — и сколько всего на этом держится. Каждому положено своё Смутное время в жизни, — у меня оно пришлось на перелом восьмидесятых-девяностых, настоящий, с болезненным хрустом, как перелом руки или ноги — по живому. Мнилось — зыбучие, текущие пески, болота, трясины. Теперь оказывается — прочный камень, основа, одна из основ.

Вот ведь. Чем дольше живешь, тем больше источников смысла и интенсивности открывается во времени, которое переживалось как очень невнятное, полное внутренними темнот. Прошлое — созревает; то, что переживается, — всего лишь сырьё для него. Сколько ни живи — оно никогда не созрело вполне: ему всегда ещё бродить и бродить. Человек всё время его выращивает в размер себе — даже когда не замечает. Собственно, тогда как раз лучше всего.

Жизнь — постоянная выработка прошлого. Как своего рода внутреннего топлива.

Отлежаться и врати

Чтобы стать действительно Прошлым — «самим собой», — обрести цельность и собственные неповторимые интонации, прожитый кусок жизни должен в нас отлежаться. Не просто отодвинуться от нас на некоторую дистанцию (само по себе это ничего не даёт, хотя одним из условий, пожалуй, и может считаться), но именно отлежаться — и слежаться: выработать, вырастить в процессе этого якобы пассивного, «бессобытийного» лежания устойчивые связи между своими элементами, дать проступить на своей поверхности некоторым, вначале неявным, краскам — которые позже будут господствовать в облике этой единицы прошлого. Чтобы набор изначально разрозненных элементов слепился в цельность, каждый элемент которой будет отныне означать все остальные (особая «голографичность» хорошо отлежавшегося, созревшего прошлого: в каждой его детали — оно целиком).

Причём трудно — если возможно вообще — сказать обобщённо, сколько времени нужно на такое отлёживание: от нескольких часов до многих лет. Отлежится — и, созрев, проступает в человеке, образуя неотъемлемый уже элемент среды его душевной жизни.

И ты понимаешь вдруг, что тоскуешь по нему. Что тебе его, дикого и трудного, сейчас не хватает.

Конечно, тоска по прошлому — это форма благодарности ему.

Любая ностальгия такого рода (ничего не говорит нам о качестве прошлого как такового; да и где оно «как такое»?! — но) всего лишь тоска по уходящей, по ушедшей жизни, тоска от самого факта уходящести жизни. Что именно уходит — почти уже всё равно (даже если мы от этого уходящего, допустим, освобождаемся, — а в том прошлом, о котором мне на каждом шагу думается, ох как есть от чего освободиться). В этой ситуации оправданным и ценным оказывается автоматически всякое прошлое — уже потому, что оно было тогда, когда перед тобой оставалось больше (чем теперь) будущего. В прошлое-то (во всякие связанные с ним, пропитанные им места) отправляешься за будущим, и единственно за ним, — за тем чувством будущего, предчувствием его, уверенностью в его возможности — которого там (как видно отсюда) очень много, которым переполнена там — в твоём сегодняшнем воображении — каждая деталь.

Предметом тоски может стать что угодно — было бы оно в прошлом. Тоска — это же чувство недостатка бытия (что такое вожденное «будущее», как не запасы бытия?). Мнится, что если бы удалось войти хоть в какой-то контакт с предметом тоски — бытия у тебя сразу оказалось бы больше, — повысилась бы твоя онтологическая и витальная интенсивность.

Синдром, значит, онтологической недостаточности.

Впрочем, «молодость», независимо от своих реальных содержаний — это такая точка интенсивности внутри, само воспоминание о которой приводит в движение готовые слежаться смысловые пласты.

Поэтому пусть себе вспоминается, пусть себе тоскуется — сколько бы ни было в этом преувеличений, а хоть бы даже и искажений. Здесь дело вообще не в «истинности» воспомина-

емого — тем более, что в каждую из эпох жизни у него разная истинность, и всякий раз, кто бы мог подумать, — совершенно настоящая. Дело — только в динамике.

От истока

С течением времени сдвигается — вниз по его течению, всё дальше от истока — граница того прошлого, по которому хочется и получается тосковать. Забирая в себя новые, свежие области, перерабатывая и структурируя их в полноценный объект ностальгии, прошлое оставляет позади себя обширные, всё более безымянные, на глазах высыхающие области отлива.

Так свежей областью ностальгии, тоски по утраченному и несостоявшемуся обернулись вдруг девяностые, конец «двадцатых» годов моей жизни и начало «тридцатых». Годы, ещё совсем, казалось бы, недавно бывшие грудой сырого сыра, необработанным и даже неразобраным материалом для биографических заготовок. Не прошлое даже, а так, полустоящее. И внутренней эстетики-то никакой внятной, тем более — уютной, у них вроде бы нет: как ни вспомнишь, бывало, девяностые, всё там, кажется, осень да ноябрь, холод и дождь, блестящий серый асфальт, металлический ветер. Но вот же вдруг, почти непонятно как, они взяли да сложились в цельный образ со своими узнаваемыми чертами. — А где-то далеко позади море живой памяти схлынуло, оставив почти без влаги позднее детство — оно всё дальше и дальше, не разглядеть, начало и середину восьмидесятых — всё это отходит в область умозрительного предания (уже и не сразу вспоминаешь: по чему там следовало тосковать? по кому? кто эти адресаты тоски, её верные константы, по которым совсем ещё недавно тосковалось автоматически, с полоборота? Их имена и лица уже подошли к границе забвения, хотя ещё не пересекли её — они становятся прозрачными.). И только начиная с конца восьми-

десятих время наливается свежей влагой памяти, неотличимой от жизни.

Теперь и девяностые втягиваются в область острой благодарности времени просто за то, что оно было.

В девяностых — вынырнувших из своего вечного зябкого ноября — наступает, робко расцветает весна; поднимает высокий лоб молодой дикий апрель. Они принимают на себя роль той — подвижной, как выясняется — точки, от которой отсчитываешь, с которой начинаешь «себя-теперешнюю».

Да что б мы делали без утрат.

(Оттого-то и ловишь себя на желании смотреть на настоящее, сиюминутное — так, будто оно уже прошло. Даже не готовиться тосковать по нему, а просто действительно тосковать, будто тебя отделяет от него (неизбежно?) идеализирующее расстояние, и видеть его как некоторую цельность, присущую обыкновенно только прошлому. Не просто драгоценность и хрупкость его предстают тебе — а как будто уже состоявшаяся разлука и превращённость всего в неизменное прошлое, которого-уже-никто-не-отнимет. Дома, детали, свет... как будто это было уже лет двадцать назад — и надёжно, защищающе утрачено. Как будто есть повод спросить об этом кого-то близкого и понимающего: «А помнишь?...»)

Очень задыхалась в те восьмидесятые-девяностые, — а, оборачиваясь назад, вижу, насколько богатой смысловыми ресурсами была — оказалась — эта жизнь. Но кто мог это знать тогда. Случись у меня возможность связи с самой собой, тогдашней, по прямому трансвременному проводу — сказала бы я ей: смотри, этому предстоит стать твоим прошлым — твоей единственной и неисчерпаемой молодостью, твоим смысловым и экзистенциальным ресурсом. Смотри, смотри, смотри во все глаза, насыщайся бытия, запоминай: ничто не случайно, то есть — ничто не слепо, ничто не мимо.

А я смотрела — себе под ноги, внутрь себя, во все глазницы — в прошлое, в воображаемое, в несбывшееся, в невоз-

можное, в книги о другом и далёком. Это тоже надо было, да. И всё-таки.

Сейчас как тучнейшая почва воспринимается то, что тогда казалось временами скудными и жёсткими; что мнилось жестоким воздержанием от бытия — теперь чувствуется его избытком.

Собственно, так же стоило бы относиться и к происходящему сейчас — нет, оно не кажется воздержанием от бытия, отнюдь, — во многих отношениях скорее уж избытком. Просто стоило бы помнить, что (е.б.ж.) оно станет таким же ресурсом в будущем: смотреть во все глаза, насыщаться, запоминать — и знать, что ничто не мимо и не слепо.

Матрицы

И застревай, застревай на этих воспоминаниях, пока не надоест. Повторяй их, сколько душе угодно. Потребность в повторении тоже ведь зря не заводится.

Прокручивая внутри себя в не упомянуть уже который раз некоторые ключевые мысли, темы, образы, состояния... — шлифуешь их, проясняешь; наращиваешь в них слой толкований — обогащаешь (собственную внутреннюю руду). Тусклое делаешь блестящим, смутное — отчётливым. Это постоянная работа уточнения — неотделимая, разумеется, и от мифологизации. Выглядит парадоксально, но внутреннее — оно вообще такое. Это же космоизация хаоса. Мифологичность некоторых событий входит в состав их точности — тех, которые из просто-событий превращаются с течением времени и работой памяти в события-ориентиры, в события-матрицы — а там, глядишь, и в персональные архетипы.

Думаешь, наконец: то самое ушедшее, что чувствовалось когда-то таким мучительно-бессмысленным, — затем и было, чтобы стать — раз и навсегда — твоей внутренней формой, неутрачиваемой, вроде душевного скелета (у души тоже есть

и твёрдый костяк, и мягкая плоть, и текучая кровь — элементы, то есть, разной степени подвижности и изменчивости). И для этого — для надёжного вращающегося внутри — всей той жизни, как внешней реальности, конечно же, надо было оказаться утраченной. Утраченному внешнему ничего не остаётся, кроме как превратиться во внутреннее — и не исчезать уже никогда.

С течением времени, по мере вращающегося когда-то прожитого в общий массив душевного материала, сращения его с ним — даже совершенно случайные в своём исходном виде события приобретают статус архетипичных — и возвращаются затем, и формируют, как матрицы, новопереживаемое. И это задним числом с изумлением обнаруживаешь, застаёшь себя за этим, когда и не чаешь. События такого рода способны застигнуть нас когда угодно — не обязательно, то есть, в гораздых на образование первоформ ранних возрастах, — и замечаться, и осознаться в качестве таковых — формирующих, направляющих — тоже способны когда угодно, хоть бы и годы спустя.

Всплывая в памяти — по обыкновению, самопроизвольно, — они организуют вокруг себя душевный материал, задают внутренние изгибы душевным процессам, некоторые ноты внутреннего звучания — работая, разумеется, как начало не смысловое, но предсмысловое, сообщающее смыслу условия возникновения.

Подумаешь вдруг: всё обилие прежней жизни случилось с тобой затем, чтобы можно было видеть это во сне — включая сны наяву, — произвольные и, казалось бы, Бог весть чем мотивированные образы, проносящиеся подвижным фоном мимо всякого твоего восприятия, — сращивая это в личные, обладающие персональной, лишь тебе адресованной объёмностью символы, в несловесные слова единственного внутреннего языка. Для наращивания внутреннего слоя, для стереоскопичности каждого проживаемого мгновения.

Сейчас

Так чем же, собственно, создаётся прошлое? Дистанцией? Да какая там дистанция. Как раз напротив. Прошлое, получается, тогда только и оформляется в прошлое, когда окончательно становится настоящим — когда понимаешь, что никуда оно не денется. Прошлое — это то, что навсегда. Чему уже не пройти.

Ведь самое потрясающее, что в старых книжных полках живы прежние запахи (не говоря о физической оболочке книг, фактуре и сообразной времени потёртости их переплётов, виде их страниц, форме их шрифтов). И вот они возвращают растерянному человеку всю, в мельчайших подробностях, включая забытые, — совокупность ушедшей жизни, всю её живую, дышащую массу. Она вся оказывается *сейчас*, между нею и тобой не обнаруживается никакой дистанции — напротив, прежняя беззащитность перед ней, и страннее всего — то, что время вообще существует.

Возраст — нарастание количества пространств, в которых одновременно живёшь здесь-и-сейчас. Нарастание объёма настоящего — даже, наверно, сиюминутного.

Краткость — лучше сказать, исчезающая мимолётность! — жизни отчасти компенсируется (как это часто случается с компенсациями, эта тоже тяготеет к избыточности) способностью жизни накапливаться внутри и присутствовать там — в каждый из проживаемых моментов! — всей-целиком, всей-одновременно. Этот прозрачный (во все стороны видно; видно многое сразу) внутренний ком постоянно растёт, не теряя старых связей и прорастая новыми. Назвать ли эту внутреннюю стереоскопию «памятью»? Память — вещь всё-таки более или менее умозрительная, а это прошедшее всё — живётся, проживается. Чувствуешь себя звукозаписывающим устройством, на котором звучат все записанные мелодии сразу. Притом каждую различаешь — и звучание каждой сказывается на звучании всех остальных. Чем дальше, тем всё

более существование становится сплошным воспоминанием-настоящим, бесконечным навязчивым проигрыванием одних и тех же пластинок, которые сама же и записываешь. Они, впрочем, за годы накопления вполне друг с другом сыгрываются и образуют отнюдь не какофонию, но напротив того — слаженное, объёмное, стереофоническое звучание. Заслушаешься.

Человек — форма консервации времени. Нет, не культура, совокупность систем кодирования того-сего, как думается во вторую очередь, а именно сам человек, со всеми своими телесными и душевными подробностями, мелочами, зацепками. Пока мы живы — ничто не пропадает.

Пуще того: в форму памяти, в форму иносказания своих личных (а хоть бы и надличных) человек, не хуже царя Мидаса, превращает решительно всё, чего ни коснётся.

Так весь город твоего многолетнего обитания — начиная с какого-то момента, едва только скапливается достаточно критическая масса прожитого и нажитого здесь внутреннего опыта, — превращается в сплошную машину времени: едва ли не из любого места в нём постоянно отправляешься в ту или иную точку своего, связанного с этим местом, прошлого. Никогда же не живёшь «просто так», без дополнительных смысловых подтекстов. Происходит перенасыщение прошлым.

Вообще, когда просто долго-долго живёшь на одном месте, оно, аккумулируя понемногу твой опыт, твою память, твоё время — наконец переполняется ими; накопленное достигает невыносимой, жгучей концентрации, и уже шагу нельзя ступить без того, чтобы не провалиться во все слои своей жизни сразу, не подвергнуться их одновременному и многократному воздействию. Любой незначительный акт типа включения света или вынесения мусора превращается в живое — без кожи, нервами наружу — воспоминание. Эта, прости Господи, гиперсемантичность каждой крупинки существования — чрезмерная (столько, казалось бы, не надо) полнота жизни и страшная несвобода от себя и своего — одновременно.

Иной раз подумаешь, что человек умирает, чтобы бежать куда-нибудь уже от этого распирающего, подавляющего избытка.

Вот и застаёшь себя за пониманием того, что новизна как ценность во-первых, конечно, важна, а во-вторых, что ещё более интересно, она — ценность вторичная, производная, зависимая, инструментальная. Она — не целевая ценность, сама по себе она вполне пустопорожня. Но она освобождает нас от прошлого, склонного разрастаться и костенеть по мере разрастания. Новизна — средство (какое ни есть — другого не вижу) от избыточности прошлого, от извести в крови. Она нужна просто уже затем, чтобы выбивать нас из сложившихся, вязких, засасывающих состояний и тем самым способствовать жизни — движению в противовес смерти — остановке.

И, наконец, затем, чтобы в свой черёд благополучно стать прошлым — объектом тоски и благодарности.

Дома и бездомья: пластика странствий*

Серый, режущее-металлический рассвет, у самого воздуха, вокзального, стылого — привкус металла. Зябко. Всякий звук грохочет, мучает; разрывает, мнится, тоненькую защитную плёнку между тобой и миром — которой так и хочется, даром что она метафорическая, укутаться с головой, закатиться куда-нибудь, где никто бы не видел... Тащишься через вокзал с рюкзаком, тяжёлым, как чёрт, опаздываешь, задыхаешься, — кто только выдумал эти ранние отправления поездов? Закатишься тут, как же, — разве что на верхнюю полку. Упасть и выключиться. До самого прибытия на конечную станцию.

Но стоит поезду тронуться — сна как не бывало.

Какой тут сон, когда за окном начинает двигаться, дышать, меняться само пространство. Начинает твориться само из себя, наборматываться, разворачиваться перед твоими глазами — доверчивое до незащитности — куда быстрее, чем можно было бы увидеть на пешем ходу. Только смотри во все глаза.

Включается Дорога — как особое, большое, всё в себя втягивающее состояние. Состояние-посредник между двумя главными состояниями человека: Домом и Бездомьем. Соединяющее в себе черты их обоих. И никакой конечной станции не надо — напротив, хоть бы её как можно дольше не было. Она

* Впервые опубликовано: Знание-Сила. — № 1. — 2014. = <http://znaniesila.livejournal.com/65714.html>

вообще, на самом-то деле — не более, чем повод к дороге. Так бы и жить в дороге, так бы и зависать между пунктом А и пунктом Б на тонкой, чуткой нитке движения. С самого момента отправления дорога начинает казаться слишком короткой. Успеть бы надышаться ей, особой дорожной медленностью, пока она не схлопнется и не возьмёт тебя в оборот на той самой конечной станции незнакомое, дикое, неприрученное пространство. Возьмёт и не будет знать, что с тобой делать. Дорога-то знает это всегда: она делает с тобой — Дорогу.

И для чего люди ездят? Отвлекаясь, конечно, от практических потребностей: в командировку, к родственникам, в отпуск на какое-нибудь море, потому что, не про нас будь сказано, традиция предписывает... А когда ничего не предписывает? Когда, наоборот, всякая традиция топорщится от изумления, глядя, как независимо от любого отпуска, глумясь над любой необходимостью, повинуюсь одному лишь, совершенно телесному, голоду по пространствам, ты, странное существо, набиваешь рюкзак да и отправляешься — куда глаза глядят и случай позволил? Хоть в Волоколамск. Хоть в Ижевск. Хоть в глухой какой-нибудь угол Тульской области, где, казалось бы, вообще нет никаких разумных причин оказаться. (Вот-вот. Туда — особенно.)

Ну только не надо про «впечатления». Какие, в самом деле, могут быть серьёзные впечатления, если приезжаешь — как оно в основном и бывает — второпях, ненадолго и всё, что успеваешь рассмотреть — это только внешняя шкурка, тоненькая поверхность чужой жизни? Что особенного в тебя впечатается, кроме общих мест да случайностей? Да любое чтение книги дома в кресле даёт — в смысле глубины и основательности — несопоставимо больше. А тут — приезжаешь, набиваешь себе внутренние карманы чужим пространством про запас: скорей, скорей, главное, успеть захватить побольше, потом разберёмся... Того, чем эта жизнь действительно жива, не то что не возьмёшь с собой — даже, пожалуй, толком и не увидишь. Одно только внешнее. Пена. Суета.

Нет, что-то, безусловно, останется. Причём по-настоящему останется и будет вспоминаться, всплывать с обескураживающей регулярностью, кристаллизуя вокруг себя внутренние события, претендуя на роль, что-ли, смысловой матрицы — какой-нибудь совершенно к тому не предназначенный, казалось бы, пустяк. Не царица-Венеция в целом своём, тяжело-осеннем великолепии, не собор, скажем, святого Марка, не колокольня Сан-Джорджо, обласканные туристским вниманием — но поворот с мостика в переулок, стоячая вневременная вода в канале, — мгновенное переключение внутренних планов: вдруг видишь себя здешним, давним человеком, для которого всё это — прочная, надёжная, добрая рутина. Не роскошно-избыточная, напряжённая до экзатичности в своём центре, Прага, но вечер на тихой её окраине, серые одинаковые дома, огоньки в сумерках, автобус выезжает из-за поворота, — думаешь: город прекращает театр дня, выдыхает, начинает быть самим собой. Не пышная, как многословное повествование, витиеватая, громкая Вена, но ветерок в метро — поднимаешься по лестнице и вдруг ловишь себя на впечатлении: а ведь у него не московская фактура. Прохладная тень от деревянного дома в Барнауле — сразу почему-то опрокидывает тебя в каникулярное детство, в зелёные семидесятые. Пахнет сено, сложенное в стога прямо на улице в маленьком городке Ефремове, идёшь мимо и думаешь: по этим улицам невозможно ходить быстро. Никакой энциклопедии — разве что очень личной и никому другому не понятной — из этого не составишь. Никакой образованности эти вещи — самые сильные из всего, что осталось! — не дают. Никакого кругозора не расширяют. Тогда зачем?

А вот зачем: поездки — это такая практика себя. (Нарочно отказываюсь от чересчур торжественного, важничающего слова «путешествие». Куда бы лучше — «странствие», со стойким привкусом неприкаянности, устойчиво созвучное странности, странам, сквозящей дали.) Такое особое упражнение в существовании, в бытии-самим-собой, в парадоксальном единстве

самообретения и самоутраты, которое ни на каком другом материале почему-то не получается. Только на материале взаимодействия с разными пространствами. С местами разной степени освоенности, разного градуса чуждости.

Поездки — выбивание из-под себя привычной основы: а-ах!.. Изъятие себя из освоенных рамок. Это — опыт дезориентированности. Потерянности и потери. Опыт Бездомья.

Кстати, опыт поверхностности, да. Того самого слизывания — быстро высыхающей — пены с чужих ускользающих дней. Дома мы обречены на глубину, на перенасыщенность всего памятью и подтекстами. Дома каждая деталька стереоскопична, голографична: в каждой разворачивается целая жизнь. А в Бездомьях вещи, повёрнутые к нам своими поверхностями, притворяются, будто не значат ничего. По крайней мере — ничего особенного. Они ничего от нас не хотят. Они нас от себя освобождают.

Бездомье — опыт бытия-просто-так. Без домашних оправданий и обязательств. Без домашних защит.

Причём это — практика скорее уж телесная, чем душевная или умственная. Говорю же: чтение, при котором чужую жизнь проживаешь изнутри, видишь её содержания, — наращивает и ум, и вообще всякую внутреннюю оптику куда больше. А тут — тело ныряет в новые, непривычные для себя состояния — и тащит за собой растерянную душу. Проверяет её: насколько ты, голубушка, к этому готова? Насколько ты вообще пластична? Где твои границы? Как ты их проводишь? Что способно через них проникнуть? А вот при таких условиях можешь быть собой? А при таких? А вот при эдаких?.. Эй, это всё ещё ты, а?..

...Перепад температур. Неисхоженный рельеф улиц. Поновому пахнущий воздух. Та самая «немосковская» фактура ветерка в метро. Звуки чужих языков — неважно даже, насколько понятных. Чужие привычки, в которых нам угловато и тесно. Чужая разметка времени. Неочевидные ритмы, необжитые формы. Выталкивающее, отворачивающееся; в лучшем

случае — равнодушное. Чем неуютнее, тем лучше. Чем страннее, тем сильнее.

Странствия работают в нас с тем, что предшествует смыслам и словам, что опережает понимания (и делает их возможными). С самой пластикой личности. Они учат нас многообразию форм — и внимательному терпению в их проживании.

Отдельная, важная часть этой практики — возвращение. Настолько важная, что иной раз хочется думать, будто вообще всё остальное затевается ради этого. На самом деле нет, конечно; но всё равно — без него никак. Без него гештальт не закрыт.

Возвращаясь в Москву, очередной раз ловишь себя на чувстве: только здесь твоё существование — настоящее, в прочих местах оно призрачно, как бы не вполне телесно. Твоё настоящее, Большое Тело — Москва, вся, в её целом, а то, что умрёт по исчерпанию своего физиологического срока — это тело малое, оно — только ядрышко Большого, на котором Большое Тело крепится и нарастает. Московские пространства — органы чувств, развёрнутые чувствилища: их посредством, всем их объёмом — и никогда не иначе — ты воспринимаешь мир. И когда, при подъезде к Москве по, скажем, железной дороге, за окном начинают громоздиться её избыточные, многоэтажные окраины — берёт да и наступает, никакого здравого смысла не спросясь, особенная внутренняя ясность. Прикасаешься к собственной очевидности — нет, встраиваешься, вырастаешь в неё. Обретаешь всю полноту собственных чувств и смыслов, от которых в другие места возишь с собой только лайт-версию.

Все другие города, даже остро и мучительно любимые, даже те, которые числишь своими родинами (Прага, Будапешт, Питер...), — в каком-то смысле, как ни странно, — воздержание от жизни: от жизни-в-целом. Это очень странно, но именно за этим застаёшь себя всякий раз — и изволь отнестись к этому внимательно. Тут дело не в Москве: в структурах жизни.

Дома и Бездомья — разные домены бытия. Разные принципы организации (понятное дело, внутренней) переживаемого пространства. Как Домом, так и Бездомьем может стать что угодно. Нельзя также исключать, что Дом и Бездомье способны запросто — даже в одно мгновение — поменяться местами.

Отдельный вопрос, что в жизни непременно должно быть и то, и другое. Эти экзистенциальные константы — неотменимые несущие конструкции удела человеческого — существуют исключительно в паре, предполагаются друг другом, отражаются друг в друге. Никакого Бездомья не будет, если хотя бы у нас внутри не теплится Дом как воображаемая точка отсчёта. Дом теряет смысл, если не окружает его завывающее, пронизанное ветрами и всем им распахнутое — Бездомье.

Дом и Бездомье — прежде всего ощущение «кожей» окружающего пространства: его замкнутости или разомкнутости, его защитной или обезоруживающей силы. Дом — дополнительная кожа на коже, продолжение кожи. Бездомье кожу — сдирает. Оставляя нас оголёнными нервными окончаниями наружу.

Бездомье — беда и гибель (но и повод собрать себя перед их лицом — сразу, в авральном порядке, обнаружить в себе массу возможностей для этого: они становятся видны только в экстремальных условиях, а Бездомье — это всегда так или иначе понятый, пусть даже медленный и растянутый, пусть даже очень щадящий! — экстрим. Бездомье — балансирование на грани собственной невозможности, экспериментирование с собственной невозможностью). Дом — спасенье: вынесенное вовне и потому позволяющее остаться внутренне беззащитным.

Дом — бережёт, щадит, позволяет уходить вглубь. Бездомье экстравертирует, выворачивает наизнанку: хочешь, не хочешь — следи за дорогой. Протяжённое, аморфное (ксеноморфное!), Бездомье подвергает сомнению все наши освоенные формы, заставляет цепляться за небольшой, компакт-

ный набор навыков — сообщающих нам устойчивость в пути. В Бездомьи нам приходится становиться переносным домом для самих себя, осваивать опыт улитки. Дом — опыт внятной, обозримой структуры. Он нас подтверждает. Дом — область очевидностей. Бездомье — разгул условностей, хлипких, непрочных, сквозь которые явственно просвечивает само Небытие.

Дом — склад всего, что мы добываем в Бездомьи (затем и нужны ему обозримые полочки). Бездомье — пространство, куда мы отправляемся за материалами для строительства Дома (больше взять негде).

Дом — тот самый инструмент, с помощью которого мы концентрируем, фильтруем набранное без порядка в Бездомьи: инструмент по преобразованию досмыслового — в смысл, пережитого — в опыт.

Бездомья напоминают нам, что мы — не центр мира. Дом возвращает нам уверенность в том, что мы-то как раз центр мира и есть. (Надо ли говорить, что оба правы?) Дом — вдох, Бездомье — выдох, — и как бы мы дышали без них обоих?

Поэтика потерь: к антропологии вещи*

*Большая вещь — сама себе прютом.
Ольга Седакова*

У вещей есть два модуса существования — присутствие и отсутствие, причём последнее не менее, а иногда и более сильно, чем первое. Иные предметы голосят, вопиют своим отсутствием, его незаменимостью—ничем—другим. Иным — вообще надо исчезнуть, утратиться, чтобы стать по-настоящему, в полной мере самими собой. Их присутствие — только подготовка к будущему отсутствию, его вызревание, накапливание. Утрата — задание и человеку, и предмету.

Белые и чёрные клавиши бытия — присутствие и отсутствие.

Расхожее и защитное представление о том, что-де «ни о чём» — а уж тем более об утраченных вещах — «не надо» жалеть, — не только неправда, но и как-то нечестно по отношению к вещам, верным терпеливым спутникам. В них скапливается жизнь. В любых, в мелких тоже, и по количеству её там ничуть не меньше, чем в крупных: жизни нет дела до размера вместительности, она везде умещается. Её—то и жаль.

Всякая вещь ведь о чём-то, поверх своего утилитарного назначения. Так один кувшин для холодной кипячёной воды, долго-долго живший в доме и погибший под сдуру ливанутым туда крутым кипятком, всем своим округлым простодушием был — о молодом сентябре как состоянии мира, о моих

* Впервые опубликовано: *Mixtura verborum'* 2012: сила простых вещей-2 : философский ежегодник / под общ. ред. С. А. Лишаева. — Самара : Самар. гуманит. акад., 2013. — 168 с. стр.57-62. = <http://www.phil63.ru/poetika-poter-k-antropologii-veshchi>

ранних восьмидесятых, о прохладном восходе жизни — и тем самым, уже одним этим, ощутило эту жизнь выпрямлял. Его давно уже нет, а место, где он стоял, всё ещё тихо-тихо, едва слышно, но неустранимо звучит на той же ноте, которую он создавал своим присутствием.

Ведь не только каждый человек другому — урок (это-то давно известно), но и вещи приходят, чтобы нас чему-то научить. Даже если это что-то — «всего лишь» солнечность существования.

Потери остро затачивают нас, как карандаши (чтобы тонкую линию, значит, проводили по лицу мироздания, а не жирные неряшливые штрихи). Срезают — ну не то что лишнее (далеко не факт; скорее уж напротив — скорее то, у чего было своё трудноотменимое место в жизни, иначе не будет ни больно, ни чувствительно — иначе какая же это потеря?), — они срезают то, что может быть срезано. И остаётся то, что, предположительно, — не то что неуничтожимо (уничтожимо, есть основания подозревать, всё), но уничтожимо гораздо меньше. Ядро.

Вещь — формирующий стимул жизни, терпеливый и незаметный прокладыватель её русел — тех самых, по которым жизнь течёт каждый день, приобретая формы, намывая содержания. Вещь — соучастник и собеседник, «плоскость» для проецирования себя — экран и зеркало для человека.

Мы с ними — не в отношениях владения, но в отношениях взаимообуславливания. Наш диалог (почти) равноправен, более равноправен, чем принято это замечать. Вещи и сами владеют нами — потому что хоть в какой-то мере да определяют нас, диктуют или хоть подсказывают, какими нам быть. И чувствуется даже, будто им стоит довериться — во всяком случае, некоторым вещам — точно стоит: безусловно есть вещи, которые — хоть в чём-то — мудрее нас.

Время превращается в вещи, загустевает и оплотневает в них. Вещи — это всего-навсего возможность пощупать время руками. Разрушаясь, они растворяются во времени снова.

Временем они пропитываются автоматически, даже если ничего с ними не делать, а просто держать их где-нибудь на складе взаперти и без всякого употребления (так поражают — огромными объёмами непрожитого, пустого, слепого времени: заглотнули некогда его воздух жадно, в запас — и не могут выдохнуть, — совершенно новые вещи, застигнутые лавой и пеплом в Помпеях и ископанные спустя столетия: ряды одинаковых, не успевших пожить глиняных горшков, мисок, плошек, ваз, амфор...). Зато вот долгое употребление полирует вещь, «настраивает» её, ставит звучание ей, вначале дико и безадресно голосащей. Очень любопытны вещи с длительным опытом активной принадлежности, прирученности, с живой памятью множества касаний рук, хоть бы и совершенно бездумных: здесь никакая дума не нужна, здесь важен сам факт употребления. Не только с изготовившего её конвейера, но даже из штучно и с любовью создавших её рук вещь выходит лишь заготовкой самой себя, пустой болванкой, на которую затем будет (взаимопропитывающимися) слоями записываться время и пространство.

Вообще, человечество должно бы однажды изобрести род проигрывателя, считывающего устройства, которое «эксплицировало» бы накопленные вещью за время существования смысловые шумы. Мыслимо даже такое искусство: обработка этих считанных шумов, выстраивание их в эстетически значимые последовательности.

И если уж вещи — координаты человека в бытии (позволяющие ему, значит, нащупать и закрепить самого себя), то, утратив прежние, человек должен — имеет перед собой задачу — вписывать себя в новые координаты. Заново выстраивать сетку.

Но след этих координат, сделанная ими прежняя разметка, внутренняя карта остаётся в человеке навсегда. На месте утраченного непременно остаётся хоть какое-то количество фантомной боли. И та врастает в форму существования человека, как некогда врал в неё присутствующий предмет.

С утраченными вещами ещё при жизни их владельца происходит то, что в любом случае ждало бы их потом, после его смерти — они теряют своё оправдание, из них вынимается смысловой стержень, их скрепляющий, и они рассыпаются, как тело без души (человек-владелец выполняет роль души по отношению к своим предметам). И вот тут-то начинается их посмертная жизнь, в памяти и самочувствии бывшего обладателя: тут они — в качестве собственных образов — все вместе, в осмысленной цельности.

Имея сильные сомнения в посмертном существовании людей, вижу как ясный факт посмертное существование вещей. Они остаются как — изменённая ими — форма той жизни, в которой присутствовали, как след солнечного пятна под закрытыми веками, как оттиск печати. Оставляют за собой устойчивую совокупность связей, инерций, особенностей тела, эмоциональных движений, привычек своего обладателя, задают телесную (в пределе — экзистенциальную) оптику и пластику — которая продолжается и долго, долго после них. (А что, люди разве не так?)

Есть вещи горячие, жгучие. Покидая жизнь, в которой присутствовали, которую своим присутствием поддерживали и наращивали, — они оставляют по себе дыры с оплавленными краями. Со степенью их новизны или обжитости это прямо не связано — хотя, впрочем, совсем без связи тоже не обходится.

Новых вещей, если те вдруг обретают статус утраченных, жаль куда меньше: у них нет истории. Они — только возможность собственного будущего смысла, который не успел состояться, только ключики к возможным дверям, о которых неизвестно даже, существуют ли они; только основа для будущих наработок. Они ещё дремлют основной своей частью в небытии. (С другой стороны — как не пожалеть о набухшем, «круто налившемся» бытии, которое так и не смогло развернуться? — даже если оно не «своё», как те помпейские амфоры.) А вот старых вещей, вещей с историей, памятью и отчётливым смыслом — жаль безусловно и остро.

(Надо ли повторять, что вещи оберегают нас от небытия? Они — стражи на границах между ними и Им. Потеря — про-реха в границе.)

В некотором глубоком смысле все утраты — родня друг другу. И боль от конца некоторого этапа жизни, и боль от утраты ясного рыжего кувшина, привычной ручки или старых удобных кроссовок — это одна и та же боль (разве что входит в разных точках), и говорит она об одном.

Об уязвимости и драгоценности человеческого — всего, о его одушевлённости и невозвратимости — и о возможности, возможностях жить без утраченного. О возможностях жить. О чём же ещё.

Потеря (особенно — большая) — урок не только смерти (репетиция — очередная — расставания, вплоть до расставания с телом: ушедшие вещи — тоже часть тела, да ещё и формирующие его принципы), но и жизни: она позволяет увидеть (и обрадоваться!), как много у тебя, оказывается, осталось. Обеднение подчёркивает твоё богатство, фокусирует внутреннее зрение на нём. Лучше потерь этого ничто не умеет делать: всё остальное гораздо менее эффективно уже хотя бы потому, что потеря — сильнее и принудительнее.

Вещи надо отпускать, уметь отпускать — и с благодарностью, точно как людей. Вещи устают, им хочется в небытие.

Другая вещь, пусть в том же статусе, поведёт нас по другому руслу.

Потери — точки роста (даже — зоны его: совокупности точек). — Так и хочется вернуться в своё обжитое, точно по-догнанное предметное (почти уже не-предметное) тело, принять привычную до естественности форму. А вот фиг тебе. Расти.

Каждая потеря — акт взросления и рождения. Рождение без боли — не настоящее, как и взросление без травм и утрат. Всякая потеря заново производит нас на свет: выталкивает из тёплого лона сложившейся и обжитой ситуации в холод и ветер мира, из прежнего дома — в новое бездомье. Всякая поте-

ря — инициация: в новое, пост-утратное состояние. В состоянии с «хоть на миг, а иным» модусом и тоном.

В этом смысле жизнь, конечно, — (почти) непрерывное рождение.

Кстати, приобретения и утраты тоже не должно бы, по идее, друг от друга «отличать», как о победах и поражениях рекомендовал себе и нам Борис Леонидович: и в том, и в другом случае — меняющемся количестве и конфигурацию образующих жизнь единиц — приходится собирать себя заново.

Среди ходов, которые прорывает в нас будущая старость, явно есть и перестраивание отношений с вещами.

В детстве, особенно раннем — и это до сих пор очень ясно помнится — предметы и их детали воспринимались отчётливо-выпукло, самоценно, завораживали. Предмет с его фактурой, подробностями, шершавинками и выщербинками на нём был самостоятельной речью бытия, не нуждающейся в словесном пересказе. Едва ли не в каждый предмет можно было вглядываться долго-долго, как в огонь или в воду (ведь не было же ещё разделения вещей на живое и неживое, на искусственное и естественное: всё было и живым, и естественным, и таинственным), уходить взглядом в его перспективу. (Одним из таких чувственных воплощений осмысленной — просто непрерываемой, не нуждающейся в пересказе — бесконечности была, например, большая коробка с пуговицами. Каждая из её обитательниц была чётким высказыванием, даже повествованием; со своей интонацией, со своим отношением к миру. Кстати, они все живы. Просто коробка у них другая. Должно быть, пересмотреть их однажды будет событием, сопоставимым с перечитыванием очень значимой в детстве книги или даже с возвращением в места, в которых много чего пережито.)

Юность, молодость, да, пожалуй что, и зрелость мыслят и чувствуют размашисто, охапками. Детали проскакивают мимо. С будущей старостью к нам подступает внутренняя тишина (кстати, бывает ведь и тишина взгляда) — и в ней всё лучше слышны отдельные предметы. Исступающие из своих

(всегда в конечном счёте условных) связей, они снова подходят к нам вплотную.

Внимание снова подолгу медлит на деталях, впитывает их в себя. В этом есть что-то от дрожания над ними, ускользающими, обречёнными, — от будущего прощания с ними.

Впрочем, чем ближе к старости — чем глубже в старость! — тем меньше значения в вещах. Тем осязаемее они — до краёв, через край переполненные в детстве бытием — опустошаются, что всё яснее и яснее: ни одна из них, даже самая замечательная, ни даже все они вместе не удержат нас от смерти. Вещи не держат в мире! ничто не держит! — вот ступор молодой, начинающей, едва осваивающей себя старости, вот её ведущий когнитивный, прости Господи, диссонанс. Вначале этому поражаешься, не хочешь и не можешь верить, как предательству.

Старость — начавшееся опустошение вещей: совершенно независимое от того, что в процессе нашей общей с ними жизни они насыщаются, даже перенасыщаются памятью, становятся средствами записи прожитого, которые не хочешь — а перечитываешь, они сами перечитываются. Это параллельные процессы, не мешающие друг другу и не отменяющие друг друга. Так вот: с погружением в старость вещи, сплошь исписанные, — от нас отделяются. Мы с ними отправляемся в разные плаванья.

Работа убывания*

Чёрный ноябрь, обнажение мира до корней. Вростание его, лишённого листьев и снега, всех суетных самообманов весны, лета и осени — в свою последнюю правду.

Каждая последующая осень невыносимее предыдущей, потому что вбирает в себя и предыдущую, и все те, что ей предшествовали: в каждой нашей осени есть все осени, прожитые нами, и каждый раз — на одну больше. Рано или поздно эта насыщенность становится уже просто нестерпимой. Она обретает крепость йода, прожигает насквозь. Не спасает даже то, о чём хочется думать как о «возрастном притуплении чувств», оно же — всё более качественная отработка и наладка защитных механизмов: на самом деле никакого возрастного притупления чувств нет в помине, а защитные механизмы вовсе не так отработаны и налажены, как хотят казаться. Защитные оболочки у человека на самом деле очень — и по определению — хрупкие, а самое существо человека — уязвимость и незащищённость.

Осень добирается до самой мягкой сердцевины. Лету всё равно, оно слепое, поверхностное — а осень всё видит, осень добирается. Осень — разлитая в природе, даже болезненно-обострённая зрелость. Чем дальше, тем больше каждая из них подтверждает нам собственное наше убывание, вработывает нас в реальность возраста.

Возраст, второе имя смерти. Даже почти не эвфемизм.

* Впервые опубликовано: Зание — Сила. — № 4. — 2013.

Возраст — это катастрофа, которая всегда с нами. Это домашняя, ручная беда; повседневный учёт наших отношений со смертью, обыденный график их развития.

Подумаешь: возраст что-то делает с человеком уже сам собой, простым своим прибыванием, независимо даже от того, прикладывает ли человек какие-то усилия к себе и к миру. Ну, будем справедливы: какие-то — неминуемо прикладывает. Просто не факт, что их целью всегда и непременно будет формирование себя, да ещё по осознанному проекту. Гораздо чаще — вещи куда более преходящие. Даже суетные.

Возраст всё равно уложит всё происходящее в проект. Не в наш — в свой собственный.

«Молодость»: распахнутость, незавершённость — и принципиальная незавершимость, и вечная её спутница — уязвимость, и потенциальная обречённость на поражение на каждом следующем шаге. И тут же — интерес к пустякам, к яркой мишуре жизни просто уже за цвет и яркость, к игре с миром, и чувство одновременно и условности и смертности этой игры, и своей перед миром малости, и его — нам, тем не менее, несомненной адресованности и предназначенности.

Может быть, молодость — некая самостоятельная сила в нас, вполне цельная, лишь с известной долей условности разложимая на элементы. Она в нас действует, формируя (даже — вынуждая к существованию) побуждения, влечения, тревоги, выборы; она возникает, набирает мощь, властвует — и потом так же в свой срок идёт на спад. А в это время внутри её, взаимодействуя с её труднорасцепимыми элементами, перегруппируя их по-своему, зарождается новая, следующая сила — она в свою очередь будет властвовать нами как внутренняя данность и с нею как с таковой тоже придётся считаться. Это она поднимает «валяющиеся на дороге» смыслы и задаёт им направление движения и характер соединений друг с другом.

Но разве не то же делают — детство, зрелость, старость?

Конечно, тут многое связано даже не с социальным возрастом (который — всегда конструкт, а значит — всегда может

быть, в конечном счёте, иным), а с самым безусловным — с биологическим. Весь этот гормональный фон сильно влияет на динамику смыслов, не то чтобы лишая её самостоятельности, но очень во многом задавая ей направление — и задачи для той, явно неизменной, «точки самонаблюдения», у которой отчётливо нет ни пола, ни возраста, ни социальных и прочих принадлежностей и координат. Всё это внешне по отношению к ней, она отделяет себя от этого легко — и стоит над всей этой динамикой в качестве неподвижной звезды, и собирает её в цельность.

А в цельности с границами, между прочим, большие проблемы.

Что, если «детство», «юность», «молодость», «зрелость» и «старость» — всего лишь разные модусы отношений с собой и с миром?

В принципе, каждый из них может случиться с нами когда угодно. Да и случаются. Вот сейчас, каждую минуту.

Может быть, «молодость» и «старость» — в некотором смысле такие же условности, как «север» и «юг». Как определишь, где «кончается» север и «начинается» юг? Так и старость с молодостью: они обе — друг у друга внутри, между ними нет границы. Старость начинается в глубине — не молодости даже, а детства, может быть, и младенчества: у младенцев бывают старческие лица и мудрые, как будто очень много видевшие, глаза. И в глубине старости мы наверняка, дожить бы только, обнаружим самую незащищённую молодость, в самой изумлённой растерянности от того, что жизнь только-только начинается. А что ей при этом приходится ещё и заканчиваться — так это уж так совпало.

В нас не просто сосуществуют — одновременно — разные наши возрасты, включая и ещё не прожитые. Они в нас ещё и взаимодействуют, обмениваются элементами, и каждое наше «актуальное» состояние определяется их текущим соотношением — иной раз просто сиюминутным.

Так в сорокалетнем, посередине странствия земного, происходит — нет, не борьба, тут объёмнее: интенсивное и небес-

конфликтное взаимодействие по меньшей мере двух начал: *открытости* и *завершённости*. То одна из них берёт верх, то другая, но абсолютно не торжествует, кажется, ни одна. (И как не увидеть в этом несомненного торжества незавершённости?)

Каждый возраст (в своём идеальном, конечно, замысле, которому ни один из живых возрастов, пожалуй, никогда не подчинится) — своего рода аскеза. Он — упражнение в определённых смыслах и возможностях, разработка их, культивирование — и воздержание от других, другим возрастам принадлежащих, смыслов и возможностей. Не потому ли такими смешными, когда не прямо раздражающими, принято чувствовать старообразных молодых, молодящихся стариков, инфантильных взрослых? Возраст — программа, которую «надо» выполнять. Не выполнил — сам и виноват. Культурный прессинг, конечно.

Но ведь никакого прессинга никакая культура без оснований тоже не заводит.

А что, если смысл человека, на самом-то деле — в не-универсальности? «Универсальность» ведь — аморфна. Форма — (продуктивное) напряжение ограничения. Каждый возраст — освоение своего набора ограничений, — что ничуть не противоречит освоению своего набора свобод. И даже очень взаимосвязано с этим.

Это действительно — культурная программа. И даже экзистенциальная.

Один из ясных симптомов «зрелости» — понятой безценочно, просто как некое качественно новое, по сравнению с той же молодостью, состояние, — ослабление бритвенно-острого некогда (аж слишком!) чувства «своего» и «чужого».

Первая стадия вхождения в «зрелость» (когда бы та нас ни застала: хоть в двенадцать лет, хоть в сорок, а хоть бы, может быть, и в шестьдесят!) — не понимание ли того, что и «чужое» нам не чуждо, что и оно имеет к нам некоторое отношение?

Это всё чувства, однако, первой половины жизни: наработки и освоения *проникнутости миром*. Чувства начала. А вот

приметы второй её половины: растождествление со «своим», дистанцирование от «своего» — того, что таковым чувствовалось, пусть даже очень убедительно. Формирование того странного (пока?) чувства, что принятое и пережитое в качестве «своего» (даже — яростно-своего, ревностно-своего) в некотором глубоком своём корне тоже не имеет к нам отношения. Что и оно не обещает нам безусловной принадлежности — и не требует её от нас.

Мир не для нас. Он легко нас отпустит.

Да, возраст освобождает. Правда — той самой свободой, которая родственна смерти и именно в ней получает своё самое полное осуществление. Мы будем совсем свободны, когда нас не станет, и чем нас меньше, тем мы ближе к этому состоянию. Истончаются перегородки между нами и миром, чем дальше, тем меньше застилают нам горизонт. Что было в молодости плотным — к старости становится всё более прозрачным.

И это при том, что в молодости отчаяннее всего, жарче всего хочется — слиться с миром, стать им — при главенстве в этом соединении, конечно, себя, а никакого не мира. Себя увеличить за счёт мира, превратить множественное, чужое «не-Я» в своё огромное «Я», сделать вот это всё формами собственной бесконечной, неисчерпаемой личности. Прочувствовать каждую из форм как личную душевную и телесную реальность. Стать утренним солнцем. Стать бульжной мостовой, влажной после дождя. Стать тающим снегом. Проходящим мимо поездом. Случайной музыкой в подземном переходе. Жизнью каждого из людей, кто хоть как-то — хоть в воображении — заденет.

Да одно только желание такого — уже настоящее счастье. (Потому и счастье, понятное дело, что не исполняется!)

А слияние с миром всё ближе и ближе. Только «Я» в нём всё меньше, а «не-Я» — всё больше. И освобождает именно это.

В этом есть что-то от сбрасывания груза.

Может быть, старение — это вообще убывание значимости «своего» и «себя» (за исключением случаев, не лишённых патологичности, когда человек, боясь убывания и смерти, начинает за это своё и этого себя невротически цепляться — не про нас будь сказано). Жест держания, схватывания (в который складывается всё существо человека, когда он растёт и входит в силу) сменяется жестом отпускания — разжимаешь руки. Плёнка «своего» и «себя» истончается, истаивает, из-под неё проступает всё менее различимый человек-вообще — и растворяется в мире.

Жаль, конечно, молодой жаркой жажды мира. Но, по всей вероятности, и это пройдёт — и жажда мира станет так же мало понятна, если не смешна, во всяком случае — чужда, — какой мнится сегодня детская игра в песочнице. Как ведь когда-то нравилось! Как захватывало! А сейчас, ну надо же, не возбуждает никаких внутренних движений, хотя песок — тот же самый, и лепится так же прекрасно, когда влажный. Нет: даже помнится едва-едва. То же будет и с жаждой мира.

Убывая, человек перерастает свою уходящую жизнь. И вместе с ней — как часть её — перерастает он и сожаление об уходящем.

Нас сжигает светлый огонь убывания.

Возраст — нарастание внутренней тишины, в которой всё лучше можно расслышать мир. Вростание в своё будущее отсутствие.

Конечно, возраст — это проникновение смерти в нас: в гомеопатических дозах. Таких микроскопических, что их проникновение даже кажется жизнью. Да, скорее всего, ею и является.

Простое, «механическое» набирание возраста и проживание (буквально про-живание насквозь: вошёл — и вышел) разных ситуаций (говоря ещё грубее — тот пребанальный факт, что «всё проходит») даёт неоценимый, незаменимый опыт выхода за собственные пределы и смотрения со стороны на «себя» и «своё».

Возраст — самый простой способ быть другим, даже самый дешёвый, общедоступный. Не оплаченный практически ничем — кроме разве что такой малости, как собственная смертность.

Он — открытие. И притом непрерывное. Это — то, новизной и неосвоенностью чего мы обеспечены по гроб жизни. Каждый шаг здесь — в неизведанное. Может быть, в пустоту.

Он — непрерывный опыт разлуки: с обжитым вариантом самого себя. Он — работа расставания. И новых встреч и срачиваний — единственно затем, чтобы расстаться снова.

Возраст — опыт жизни после смерти.

Мы умираем много раз. Мы многократно тренируемся, упражняемся в умирании: в отделении от себя. Так, что когда, в конце концов, придёт умирать окончательно — есть шанс умереть хоть сколько-то подготовленными. Во всяком случае, есть шанс, что это, по крайней мере, застанет нас не совсем врасплох.

Очень возможно. Да только как быть с тем, что вот этого всего, уходящего и оставляемого, такого родственного нам в обречённости и смертности — отчаянно и пронзительно жаль?

А, например, вот как, — думала я после бездарно прожитого дня, застрявши в мёрзлой маршрутке на беспросветно забитом Волоколамском шоссе. Это молодые, у которых, по крайней мере теоретически, прорва времени до смерти, могут позволить себе роскошь ворчать и быть недовольными жизнью, пускать громадные её куски в отвал, объявлять их прошедшими впустую. А когда овеивает холодок близкого небытия — настаёт время другой роскоши.

Наше дело — ценить *это всё* уже за то, только и единственно за то, что оно есть. Смаковать каждую ерунду и благодарить за неё. Время дурацкой роскоши сентиментальничать и идеализировать всё, потому что драгоценна сама — ускользающая ежесекундно — материя жизни.

Стареющий вдруг ловит себя на том, что просто так топтаться по дому, занимаясь пустяками, гораздо интереснее, чем куда-то идти и о чём-то там разговаривать. (Именно интереснее. Насыщеннее. Гуще. Глубже. Подлиннее. Точнее.)

Да, сужение горизонтов, убывание энергии и мотиваций. Ну и что?

В конце концов, в этом есть своя правда.

В том же конце тех же концов, лишь тот, кто медлит и смакует пустяки, действительно живёт в настоящем. Те, кто бежит, производит продукты, достигает целей, — это настоящее только и делают, что отрицают — и, наверное, преодолевают (в лучшем случае, впаривают ему лишь инструментальную ценность) — ради неизвестно ещё каких химер.

Старость от всего этого — и от химер будущего — освобождает.

Старость — царство настоящего, обогащённого всей полнотой прошлого, которое придаёт ему объём.

Узнай я в критичной молодости, что буду такое думать — неминуемыми реакциями стали бы стыд, раздражение, даже гнев на себя за такое «снижение планки». Но это же и понятно. Молодость — она ведь тоже ничуть не заблуждается в своей категоричности. У неё всего лишь другие задачи. Распускай молодой человек сентиментальные слюни по поводу каждой мелочи, откажись он от беспощадных оценок, от веры в оправданность жёстких проектов как типа организации жизни — ничего бы из него не вышло, никуда бы он — и социум с ним вместе — ни на шаг не двинулся. А вот нам теперь можно!

Стареющий, вообще, на каждом шагу удивляется, сколько всего ему теперь можно.

Неправда, что в старости невозможно ничего начать. Да только и делаешь, что начинаешь (в том числе совершенно безответственно: видимо, безответственность принадлежит к существу человека, раз воспроизводится сама собой, и об ответственности себе приходится постоянно, настойчиво и не слишком эффективно напоминать). Старость, как это ни удиви-

тельно, полна внутренних ростков и даже, о чудо, внутренних перспектив (надо, наверно, уж совсем выжить из собственного потенциала, чтобы упереться совершенно в тупик; думается, немногие до этого доживают). Беда единственно в сознании того, что времени продолжить начатое, по всей вероятности, уже не будет.

Значит — останемся с чистым началом.

Нет, нет, открытие мира в старости не прекращается — оно всего лишь трансформируется. В старости мы открываем мир без нас, мир не для нас, такой, который нашим и с нами никогда не будет. Это опыт свободы не только нашей собственной, но и самого мира: той самой, которая в пределе — исчезновение. Ведь с миром это когда-нибудь тоже случится. И это — ещё одно основание почувствовать своё родство с ним.

Особенное родство старости: родство без принадлежности. И чем дальше, тем более без обязанностей. Мир нам тоже ничего не должен, не только мы ему.

Отпуская мир, мы дарим его ему самому. Старость — великодушное время.

У старости — огромное, огромное небо. И оно только начинается — всё ещё начинается, оно ведь огромно. (Это в своём роде безграничный опыт, — граница там только одна, известно какая, но она может случиться в любом возрасте, хоть в младенчестве. В известном смысле мы с нею имеем дело всегда — просто условия взаимодействия немного меняются.) Но оно уже началось. Притом началось давно, и многое можно уже наблюдать с хорошо набранной высоты птичьего полёта.

Старение — не (только) спуск, оно (и) подъём. В кристальную синеву, к космическому холоду.

Летим.

Приходит и забирает*

Возраст — совсем не преодоление детства и молодости. Это установление новых отношений с ними.

Детство ведь — много раз кончаясь — не кончается никогда не только в смысле неистощимости и вечной актуальности полученного тогда волею судеб запаса символов и форм, «переживательных матриц». Оно не прекращается ни в смысле роста (растёшь же всегда — даже убывая: прирастаешь убыванием, а особенно — если вдруг есть — пониманием его), ни в смысле незащищённости перед миром и растерянного изумления перед ним. Календарный возраст всего лишь придаёт этому разные формы внешней маскировки — чтобы хоть какая-то защита была.

Так же и молодость: человек всегда переполнен ею, своим началом, самой динамикой начала, его гулом, размахом, глубиной зачерпывания всего-что-под-зачерпывающий-ковш-попадётся, — всегда, даже тогда, когда прожить ему остаётся (существенно) меньше уже прожитого. Это всего лишь потому, что молодость — так велика, что не вмещается сама в себя, не ограничивается сама собой. Ей всю жизнь подавай. Или даже больше.

Но отношения с этим — начиная с некоторых пор — уже другие.

* Впервые опубликовано под названием «Прирастая убыванием» // *Mixtura verborum* 2014: Жизнь в параллельных мирах. Философский ежегодник / Под общ. ред. С.А. Лишаева. — Самара: Самарская гуманитарная академия, 2015.

Может быть, возраст, приходящий на смену молодости с её вечной, требовательной и ненасытной, жаждой новизны, — делает человека особенно восприимчивым к смыслам повторения и к самому процессу его. Возникает, если угодно, голод по повторению. То, что в юности отскакивало как от стенки горох, — теперь, оказывается, жадно впитываешь, обнаруживаешь в нём множество оттенков и хочешь ещё.

Тем более, что чем дольше живёшь, тем острее чувствуешь — о нет, не повторяемость, но единственность всего происходящего. Повторяемость — стремящаяся её компенсировать — на самом деле лишь подчёркивает её, — делает эту единственность ещё острее и почти-невыносимее.

В поздней молодости, в одной из отчаянных её ситуаций, говорила я, не без гордыни и рисовки, что у меня нет пола и возраста. Того и другого — особенно «того» — к тому времени уже отчаянно хотелось. — Зато теперь возраста у меня хоть и нет (возраст — это отчётливая внутренняя стадийная структура, определённая не столько психофизиологически, сколько, прежде всего, культурно. Это — вжитость и вработанность в определённые социокультурные роли, релевантные лишь на определённой жизненной стадии), а старость есть — по крайней мере, точно будет. Оказывается, так бывает. Старости всё равно, есть у нас возраст или нет. Она, как смерть, — приходит и забирает.

А вот и очередное предположение о том, когда и как приходит она. — Как детство кончается много раз, так много раз наступает и она, и один из рубежей, очень важный, — такой: даже на уровне внутренних движений перестает хотеться «всего сразу», жадного присвоения и удержания мира — независимого ни от каких пониманий того, что чаемое «всё» в твоей маленькой, но гордой жизни всё равно никогда не уместится, и справиться не справишься, и удержать не удержишь. А вот хочется — и всё. Когда, значит, это перестанет быть — или когда, хотя бы, здравые соображения начнут брать ощутимый верх над прочими мотивами — тогда и (блаженная, освобождающая) старость.

Не знаю сию минуту, наступает ли у человека такой этап развития вообще — и когда он, хотя бы в среднем, наступает. Всего лишь, заставляя себя за бессмысленной и сильной до бесплодности жаждою «всего» (до бесплодности — потому, что своею силой, следующей из неё торопливостью и хаотичностью она выбивает из рук любые плоды, ничему не даёт созреть), имею предположение о том, что в моём случае, вероятно, — ещё нет.

Но она прорастает. Она, как жёлтые листья в начале августа, обещает себя на разных материалах.

Так думается теперь, что чтение каждой книги — по крайней мере столько же присвоение её, сколько смирение перед ней (перед теми формами, которые она в тебя впечатывает, перед теми путями, которыми она тебя внутренне ведёт). Сейчас, в сорок девять, кажется, что больше — смирение, — раньше, в начале жизни, чувствовалось, что больше — присвоение. Теперь чтение переживается как непрерывное упражнение в смирении (и в пластичности. Но разве пластичность — свойство и добродетель старости? Не наоборот ли скорее?). В общем — тоже молитва агностика.

Как много раз, во множество приёмов кончающееся детство так никогда и не кончится (напротив того: в дряхлости — вернёмся к самым сладким дням беспомощного младенчества, заснём в тот же сон, из которого в младенчестве пробуждались), так никогда не начнётся — вытеснив все прочие возрасты и восторжествовав над ними — и старость. Нет, она, конечно, начнётся положенное ей множество раз, просто вступит при этом в симбиоз со всеми прочими накопленными в человеке возрастами, будет образовывать с ними — как самостоятельное, но не единственное начало — всё новые и новые комбинации. Мир ведь никогда не перестаёшь открывать, никогда не перестаёшь ему изумляться — просто однажды для этих открытий, для их осмысления и вращивания в цельность личности остаётся очень-очень мало времени. Но, по счастью, никогда не знаешь, сколько — что обеспечивает

тебя надёжной и блаженной иллюзией своей разомкнутости и бесконечности.

Иногда (верю, что не всегда) возраст — это нарастание ясности.

Я вот даже придумала, зачем терзает молодых — вообще, пребывающих ещё в своём начале — людей мысль, она же и чувство, того, что «настоящая» жизнь происходит где-то за их собственными пределами и они, в ней не участвуя, непременно её упускают. (Меня — всю молодость протерзало, даже раньше: и часть детства, и всё отрочество, и всю юность, и позже — случилось и после сорока.) Это она затем, чтобы вытягивать нас, гораздых самоуглубляться и окукливаться, из собственных скорлуп, заставляя тянуться и расти. Как только мы застаём себя за мыслью (она же опять же и чувство), что настоящая жизнь делается вовсе внутри нас и надо сидеть и её выращивать, — всё, значит, мы уже повзрослели.

Можно расти внутрь.

С другой стороны, если «взрослый» — это тот, кто достиг (умеет достигать) равновесия и согласия с самим собой (не говорю — с миром, даже с ближайшим: мир слишком велик, слишком неизвестен — даже ближайший, с ним не договоришься, его не уконтролируешь), кто умеет оптимально, без расстрат, распоряжаться собственными ресурсами в собственных целях, да точно определять эти цели, да концентрироваться на них, да — не то чтобы не отклоняться в сторону, это всё-таки совсем утопия, но отклоняться так, чтобы этот процесс по своему общему объёму и количеству забираемых сил не преобладал над движением к тому, что назначено «целью» и не забивал бы его; кто не культивирует страдания, сливая невосполнимые силы и ресурсы ещё и в него; кто знает собственные возможности, кто умеет себя понимать и прощать и притом жёстко (да эффективно — с результатами) с себя спрашивать, — вот если «взрослый» — всё это (воплощение, словом, равновесия и меры), тогда мне до взрослости как до луны. Никакой я в свои седоглавые сорок девять лет не взрослый, а нормальный

старый подросток, которого, как пламя ветром, бросает во все стороны, то раздувая, то задувая. «Обожжённое ветром пламя», как было сказано много жизней назад в одном моём отроческом стишочке. Вот в точности оно. И по сию минуту.

Ну и ладно. В конце концов, что в этом страшного?

И вдруг думается совсем дикая мысль: будто в самом большом объёме накопленного, выросшего за десятилетия прошлого, в самом факте его существования есть несомненное и сильное счастье. Просто потому, что счастье — это полнота жизни.

И думаю я о том, что только теперь, в своих «сороковых» годах, ближе к их концу, научилась быть счастливой (скорее, оно само «научилось») — стало получаться радостно, спокойно (иной раз, правда, со спокойной экзальтацией, по крайней мере, со спокойной взволнованностью — такое, оказывается, бывает), доверчиво и с интересом принимать мир, радоваться и удивляться самому факту его (а заодно и своего) существования. По идее, такие чувства (особенно последние — радоваться и удивляться самому факту) должны бы быть принадлежностью молодости. Но в молодости такое в руки категорически не давалось, случалось скорее редкими приступами, не образуя ни фона, ни, тем более, нормы. Сейчас, как ни странно, бывает куда чаще (может быть — цепляюсь за уходящее; очень даже может быть). По совести, об этом бы молчать, поскольку всё это, разумеется, не свидетельствует ни о критичности, ни о реалистичности; ни, горше того, о большом уме (вполне очевидно, что при [пред]катастрофичном состоянии мира и общества состояния такого рода должны быть признаны по меньшей мере неуместными, если не прямо бессовестными. Как-то так: порядочный человек в подобной ситуации счастливым быть не должен, не имеет права — в этом слишком, недопустимо много от самообмана и слепоты.). Но оно само, говорю же, само. Слава Богу, хоть позицию из этого не делаю.

Выглядит примерно так: назапасалась радостью, сырьём для счастья, — и теперь использую этот запас просто потому,

что надо же его куда-то девать. Обнаруживаю в собственных внутренних непредставимых карманах, скажем, запахи январского воздуха, жёсткого октябрьского дождя, майского расцвета — и делаюсь от них бессовестно счастливой, тем более, что в (осязаемой и внешней) реальности этих стимулов счастья нет — я им ничем не обязана.

Вообще же ясно теперь знаю, что это мое сверх всяких причин и вопреки всем здравым соображениям накрывающее меня счастье (в нынешнюю пору, как вы понимаете, особенно уместное. И должно бы быть стыдно за него.) — не что иное, как защитная реакция (психосоматического организма) — на многое сразу. И на собственное приближение вплотную к невысказанным пятидесяти годам (с которыми, кроме тяжести, тусклости и увядания, ничего в воображении не связывается, и это при том, что внутренний разгон, внутренняя динамика — лет примерно на 35), и на катастрофические социальные и исторические ожидания и воображения (природной бурностью воображительной способности ещё и подогреваемые). (Приходят в резкий диссонанс друг с другом жадная, разнузданная потребность в жизни, в больших её количествах и в обостренном её качестве — и ясное осознание того, что запас жизни впереди все меньше. Можно, оказывается, ясно осознавать то, что не умещается в сознании.) — Запускающееся в душевном организме счастье — своеобразный, не сразу опознаваемый вид истерики. И еще — как бы эндогенная машина времени, сон наяву — исполнитель желаний: отправляет прямиком в молодость, в которой такое замирание и вдохновение перед жизнью было (бы) уместно, которой оно составляет, казалось бы, неотъемлемую принадлежность — и в которой у меня было много-много времени впереди, а теперь его нет — или думается, что нет, но, во всяком случае, его гораздо меньше, чем было тогда.

Между тем стареющий, уходящий человек делается всё прозрачнее, его личные качества и обстоятельства истаявают, сквозь него всё больше просвечивает мир. Он — как тающая льдинка.

«Своё», чувствуется всё больше, — недостойно не только выговаривания, но, кажется, и существования. Его назначение (с некоторого момента жизни) — в том, чтобы исчезнуть.

Всё больше хочется, чувствуется нужным (если вообще говорить, то) говорить о том, что больше, значительнее — и долговечнее меня. О хоть сколько-то общечеловеческом.

Речь человека, начиная с какого-то возраста (не знаю точно, с какого. У каждого — со своего; в моём случае это вообще — не точка, а широкая размытая полоса, и, может быть, я сейчас как раз в этой полосе) — речь исчезающего. Исчезающая речь, всё более возвращающаяся в молчание. Становящаяся его формой.

(Ведь словом, даже обращённым только к самим себе, мы вызываем, выманиваем — выдёргиваем, вымучиваем — себя из небытия. И вот всё более сомневаюсь, что стоит себя оттуда вызывать. Слияние с небытием чувствуется всё более естественным. Можно даже, пожалуй, говорить о соблазне небытия.)

Вообще, основным сюжетом, и внешним и внутренним, жизни человека, добравшегося до невообразимого пятидесятого года своей жизни, становятся взаимоотношения с небытием.

Впрочем, может быть, они всегда и были главным (если вовсе не единственным) сюжетом, просто маскировались под другие сюжеты, являлись в иносказаниях. А тут наконец взяли да заговорили собственным голосом.

Бытие и небытие оспаривают человека друг у друга, и первое всё больше, хотя поначалу очень неохотно и строптиво, сдаёт позиции. А оспариваемый, будучи совсем честен, и сам не знает, чью сторону принять: соблазнительными и полными преимуществ видятся обе.

Думаю и чувствую о том, что во мне начинается уже последняя свобода.

От потребностей, например, — сползающих к минимуму. От того-что-о-тебе-думают-люди. От перспектив. От

собственных темпоральных, витальных и экзистенциальных ресурсов.

Ну и от самой себя — всё больше. От потребности в самой себе, от интереса к самой себе.

Ещё она не перешла порогу, а дом её уж пуст и гол стоит.

В этом есть страшный кайф — в таком освобождении. В него затягивает — так же, как в детстве и юности затягивало в рост. В начале жизни у человека роман с ростом, — трудный, разумеется, полный взаимных претензий, не лишённый сопротивления, но втягивающий и увлекательный. С некоторых пор совершенно сопоставимый роман начинается с убыванием. Молодость отождествляет убывание с тоской и бедой, и я бы сама отождествила какое-то время назад, — да, тоска и беда в этом есть, но их роль здесь не исключительна, и они плодотворно сотрудничают с другими элементами.

Очень освобождает понимание того, что в мире ты не имеешь никакого значения. Нет, это совсем не устраняет той самой ответственности, которую обычно считают каноническим признаком «взрослости». Не устраняет, но даёт понять, что у ответственности есть границы (не очень себе представляю, как возможно практиковать ответственность за целый мир, что с нею делать, помимо, предположим, интенсивного внутреннего переживания), за которые та не простирается, не может простираться. И что эти границы не так уж широки: ты имеешь перед глазами обозримую, внятную область приложения собственных усилий. («Взрослость» — это ясность, да. И чувство предела. Степень иллюзорности этого в данном случае совершенно не важна.)

И тут становится кристально ясным, что можно предложить в качестве искомого (мною внутренне) определения неопределимой-аксиоматичной, ускользающей-де от прямого взгляда «ответственности». Она — та самая, что делает «взрослыми» и выращивает нам соответствующие, зрелые внутренние структуры — это область усилий, которые мы готовы прикладывать именно по внутреннему согласию, а не по внешней

вынужденности, когда «ответ» приходится держать перед тем, кто вынуждает. При внутренней «ответственности» адресат ответа — некая высшая (более высокая, нежели высший принудитель) инстанция — которой, как на её вызов, мы и отвечаем всеми этими усилиями, пишем ими послание к ней о себе. («Ответственность» — существование миру в ответ, прочтение его как послание себе — и писание себя как ответа.) В случае верующего это, понятно, Бог, в случае неверующего — инстанция куда менее, по моему разумению, внятная, типа внутреннего «я», идеального «я», неперсонифицированной системы ценностей (писать себя как послание системе!? — хоть бы и ценностей...), невесть откуда идущего, но тем не менее почему-то убедительного «голоса совести», Бытия в целом, наконец (это как раз тот адресат, к которому, со своей латентной религиозностью, предпочитаю адресоваться я). В общем, человек сам себе выбирает инстанцию — будет ли это, допустим, суетный и ситуативный социум или, что, по идее, выше, — надсуетный и надситуативный Бог (на место Которого человек с высокой вероятностью благополучно помещает собственное представление о Нём), — делегирует ей часть собственных полномочий в бытии и прикладывает усилия так, чтобы те, предположительно, вписывались в требования этой инстанции, — которые (требования) он ставит выше собственных желаний и / или, что и того сильнее, приравнивает собственные желания к ним. Как-то так.

Понимаешь заодно и вот что, — вполне вероятно, это — тоже примета возраста, и, может быть, из тех немногих его примет, что надсоциальны, независимы от общественных конвенций. «Бесцельное», самоцельное и самоценное смакование мира и бытия, проживание его ради самого проживания кажется теперь куда более важным и богатым внутренними возможностями (и более близким к смыслу жизни), чем любое целенаправленное действие. Это последнее узко в своей инструментальности, а самоцельное проживание мира, вчувствование в мир (если он — сообщение нам Творца, не пере-

водимое раз навсегда и без остатка на вербальные языки, так и тем более) — гораздо полнее, объёмнее, не говоря уж о том, что оно способно и содержать в себе, и породить из себя если и не все цели, то много разных.

Оно предшествует всем целям и пост-шествует им, порождает их и вновь поглощает. В нём, в конечном счёте, гораздо больше правды.

Оно — фон и основа, а целенаправленные действия на этом фоне и (живом, дышащем, текучем) фундаменте — лишь преходящие фигуры.

Оно первично, а целенаправленное — вторично.

И вот чем дольше живёшь, тем прозрачнее делается целенаправленное, тем яснее проступает за ним его, предшествующая всем целям, превосходящая их все основа.

Иной раз начинает казаться даже и то, что «просто» чувствовать мир — куда больше и важнее, чем его понимать, — хотя бы уже в силу условности, преходящести и частичности всех пониманий.

Но как всё-таки странно, что из одного и того же материала — из одного и того же комочка изумлённого, смятенного, обожжённого миром человеческого вещества — можно сделать, ничего к нему извне не добавляя, ничего никуда не убирая — и младенца, и отрока, и молодого, и взрослого, и старика. И всё это будет один и тот же человек, один и тот же, с единой непрерывной чувственностью, с единой — и не такой уж длинной — линией памяти, натянутой между первой и последней точками, легко просматриваемой из конца в конец.

Если уж это — не доказательство бытия Божия, то я уж и не знаю.

Вот ходишь и думаешь: возраст — это модус существования, угол наклона души к бытию, а количество прожитых лет — только способ этого модуса достичь; количество лет здесь инструментально.

Другой вопрос, что без этого, именно вот этого инструмента в его количественном объёме ничего настоящего не будет.

Ещё думаешь: возраст — это, подобно всякому инструменту, возможность, совокупность возможностей (которая, понятно, иначе как в комплекте с невозможностями не выдаётся), всякий раз — во всяком возрасте — более-менее уникальная: вполне возможно, каждый возраст — ну не каждый год, конечно, а каждый жизненный этап — позволяет нам видеть нечто такое, чего другие не показывают. — Количество прожитых, «просуществованных» лет — это всего лишь цена, которую приходится платить за соответствующую совокупность возможностей. Зато, раз ставши нашей, она теперь никуда уже от нас не денется: всегда, в любой момент, может быть извлечена (из запасов моделей мироотношения) и использована, прожита сколько угодно раз. Можно, конечно, растерять умение пользоваться моделями, давно бывшими в употреблении — но можно ведь его и не терять, сохранять контакт с ними со всеми, только доставать почаще надо из запасников, проживать, чтобы живые были. Это как с языками: чтобы они оставались действенными формами мировосприятия и не забывались, на них надо говорить, думать и жить.

Возраст — один из языков бытия. Одно из его многоязычий.

Разные возрасты добывают для культуры разные смыслы. Возраст, всё возрастное состояние в целом — большой орган для смысловосприятия; разные возрасты восприимчивы к разным смыслам.

Старение и старость нужны затем, чтобы добывать смыслы старения и старости, чтобы иметь возможность увидеть то, чего изнутри других возрастов не разглядишь — и отволочь в общий муравейник. Старение — это тоже возможность. Или даже их совокупность.

Культура — большая копилка, большой запасник форм и средств, куда каждый тащит своё — хоть веточку, хоть ниточку, где они, хранясь, вступают друг с другом в причудливые взаимодействия, и откуда каждый может взять, при необходимости, то, что ему нужно.

Так, культура накопила уже изрядно моделей старения и его толкования — и, справляясь с собственным, мы всегда можем запустить туда руку и нащупать там какие-нибудь инструменты себе в помощь.

А в благодарность положим туда то, что сами добыли. Кому-нибудь пригодится.

Чем не ответ на вопрос о «смысле жизни»?

Световая топография

Некоторое неразнообразие пространственного опыта оборачивается, чувствую я, «гиперинтенсификацией» вынужденно и постоянно обитаемого пространства, прорываясь разнообразием, даже избыточным, в его восприятии. Заменяя мне (отчасти, конечно, по собственной моей вине) мир, Москва действительно разбухает до размеров целого мира (а то и не одного) и чрезвычайно, редкостно внутри себя дифференцируется. По-разному звучат, светятся и разогреваются / остывают до разных температур даже уголки одного двора (но только одного-единственного: двора дома, в котором началась жизнь, в котором прошло огромное страшное младенчество). Это странное богатство от бедности, избыток от скудости, свечение от гниения.

Московские пространства (разумеется, не только московские, просто Москву я чувствую подробнее всего) — совершенно явно делятся по производимому ими *внутреннему впечатлению* на «светлые» и «тёмные», а ещё — на «тёплые» и «холодные», «сладкие», «горькие» и «пресные»; «простые» и «сложные»; «высокие» и «низкие»; «выпуклые», «вогнутые» и «плоские»; «складчатые» и «гладкие», «сухие» и «влажные» (тут возможна градация степеней: «сухие» — «влажные» — «сырые» — «тяжело-сырые»), «солнечные» и «пасмурные». Скорее всего, список не исчерпывающий. Характеристики столь же необъяснимые, сколь и устойчивые: они чувствуются всякий раз, когда там бываешь и даже когда просто вызываешь эти места в воображении. И мне кажется почему-то, что они

не связаны прямо (в крайнем случае — связаны очень непрямо) с личным опытом, который в этом пространстве прожит.

Можно сказать и более того: такое восприятие, предшествуя опыту, в некотором смысле определяет его характер. Задаёт ему некоторую предварительную форму.

Можно составить очень подробную «карту» такого рода, но вряд ли это кому-то, кроме меня самой, в таком развёрнутом варианте будет интересно, понятно и полезно. Но некоторые штрихи отчего же не наметить? Окрестности метро «Авиамоторная» (это — даже какое-то болезненное пространство, меня там прямо ломает, чуть ли не температура поднимается), «Текстильщики», вся «выхинская» ветка — темным-темно, да ещё и горько (хотя и довольно «тепло»). «Электрозаводская» — вообще мрак (и это при том, что никакого личного отрицательного опыта у меня с этими местами не связано. Скорее даже наоборот).

«Университет», «Парк Культуры», «Кропоткинская», Ленинский проспект — светло, сладко, тепло, высоко, просто и плоскато (с возрастанием — для меня — «рельефности» по мере приближения к наиболее обжитым мною пространствам). Ленинский проспект вообще неоднороден, есть «светлые» и «тёмные» участки.

Арбат — тёплый, солнечный, сухой. Лубянка — холодная, пасмурная, влажная. Арбат — низкий, туда спускаешься, и там надёжно; Лубянка — высокая, туда поднимаешься, и там неуютно, там продувает всеми ветрами.

Ясенево — холодно и светло, не очень высоко, плоско и просто. ВДНХ — светло, холодно, высоко, горьковато, сложновато, плоско. Центр — светлый — с тёмными пятнами, тёплый до горячего, сложный, сладкий, с интенсивным рельефом: «складчатый» — то очень высокий, то глубоко-глубоко вогнутый, низкий (но таких участков мало). Темны и тревожны вогнутая влажная Таганка — одно из самых «тёмных» мест в Москве вообще (она даже горьковата), метро «Курская», Земляной Вал... Тепла — даже горяча — и интенсивна, сладка, но темновата в основном выпуклая, кое-где лишь плоская Тверская — светлеет на разливах площадей, светлеет, и приближаясь к Кремлю.

«Темнота» здесь совершенно не обязательно значит что-то «плохое» (я и вообще не могу пока понять, что же она, собственно, значит? — Может быть, отсылает к ещё одной из неизъяснимых характеристик: *глубине*. — Во всяком случае, чувствуется очень чётко). Вот, например, окрестности редакции «Знание-Силы» — Кожевническая улица и прилегающие переулки: и темно, и глубоко-складчато, и низко, и влажно — однако ж уютно и комфортно (тепло и сладко).

Кроме того, пространства вполне явно делятся на *прозрачные* и *дымчатые*. Из московских топосов несомненно дымчат участок между метро «Лубянка» и «Китай-Город» с той стороны, где улица Никольская. Окрестности метро «Университет», моё исконное обиталище, немного дымчатые. Дымчатые (даже задымлены!) окрестности метро «ВДНХ» (ещё один мой топос-локус) — с неожиданными, трудными промывами, взмывами ясности (и это — улица Космонавтов, там горькая память). Вообще прозрачных пространств очень мало, и с такими почему-то трудно (из-за пристальности, немилосердности их взгляда на нас?). Ясенево всё прозрачное.

А ещё Москва воспринимается как звук: она по-разному звучит в разных своих частях, на разных уровнях высоты. Бывают в ней места со звуками «звонкими» и «глухими», «прозрачными» и «непрозрачными», «округлыми» и «плоскими». Она звучит несомненно округло, прозрачно и звонко — маленькими золотистыми звуками — в районе «Белорусской», вдоль Лесной улицы, Брестских улиц (и широким, объёмным голубым — в районе самого вокзала); плоско, широко и, хотя светло, но непрозрачно — в районе, скажем, Текстильщиков; глуховатым зелёным-и-золотым рассыпается — как сухими брызгами — у Павелецкого вокзала.

В некоторые районы Москвы едешь иной раз просто для того, чтобы послушать, как они звучат, и дать им себя определённым образом настроить (звучание-то «антропологическое», оно всегда настраивает — модифицирует наши состояния).

И любятся разные пространства — опять же, разумеется, не только московские, просто на примере московских я знаю

это подробнее всего — совсем не за (воспринимаемую глазом) «красоту» как таковую, а вот за этот звук, за свою внутреннюю пластику. Именно звук и внутренняя пластика определяют качество дыхания человека в них.

Есть в Москве, в персональной моей экзистенциальной топографии, места, отвечающие за старость, усталость и раскаяние, за серьёзность и отчёт, за грусть и выдох (и это район Краснопресненской-Баррикадной, и Поварская, и Большая и Малая Никитские — осень и медленность, резиньяция и итоги. Чрезвычайно необходимые в жизни вещи, и в мыслях нет отказываться ни от этих позиций, ни от знаменующих их пространств). С душевной темнотой и глубиной, с горечью и усилием работают окрестности «Беговой», настораживают и загущивают внутренние движения окрестности «Октябрьского поля». Они требовательны, но — понимающе-требовательны. Они выслушают, поймут, уложат в себя понятное, сохранят его там, потом придёшь — и возьмёшь, никуда не денется. Памятливо московское пространство. И есть — те, что отвечают за лёгкость и полёт, за молодость, звонкость и надежду — очень сильную, иррационально сильную, такую, которая переплавляет в себя даже и темноту, и тревогу, без которых — какая же молодость? Они прозрачны и черновиковы, как апрель, их навязчивая и вопреки-всему-убедительная идея — та, что всё ещё может быть переписано, и стоит начинать заново, и есть смысл стараться. Это — дорогая моя Филёвская линия метро и пространства вдоль неё, начинающиеся прямо у Киевского вокзала и тянущиеся, сколько сил хватит — в Кунцево, к Сетунь и дальше, дальше. Протруби тугим звуком, надувающим паруса — «Кутузовская», тронь тонкий колокольчик — «Фили», прорычи — «Багrrrrратионовская», звякни прозрачным — «Филёвский парк», — и утешись. Всем сразу, от воздуха до звука. Глубокие синие озёра бытия, чуткая его влага. Большие его запасы.

2006—2018

Обитаемое пространство

Город-палимпсест

Родной город — как родной язык: не только другие города, но и смыслы, и чувства, и их соотношения убедительнее, точнее, безусловнее всего воспринимаются в его формах, — да, собственно, в них только и воспринимаются. Выговариваются языком его пространств. Нужно специальное внутреннее усилие — никогда не достаточное вполне, — чтобы отделить пережитые смыслы от пространственных обликов, в которых те однажды явились. Отпечаток всегда останется. Да и надо ли отделять? Не только обедним — искажим.

Формами Первогорода, сколь бы ни были те — на внешний взгляд — косноязычны, выговорено *всё*. (Когда это *всё* проговаривается позже множеством других форм и языков, оно лишь утопает в избытке подробностей, ветвится в них, разрастаясь из одного ядра: в этом ядре оно было уже тебе дано с самого начала, и разворачивается изумлённая работа узнавания. В некотором смысле всё грядущее изобилие мира оказывается тавтологичным.) Это буквально образ мира, сумасшедший по интенсивности, данный тебе раз и навсегда в одном небольшом и по существу случайном облике. Опыт изначального — всегда опыт универсального и предельного: жизнь и смерть в их нераздельности смотрят на тебя его глазами.

Отношения со «своим» городом, тесно вплетённым в личные смыслы — принципиально незавершаемый гештальт, открытая структура: всегда что-то может быть добавлено, и оно непременно закрепится здесь на уже накопленной основе — весь город работает как собирающая матрица личного опыта.

В точности как ремонт, отношения с ним невозможно закончить — только прервать, всегда недосказанными, всегда на полуслове — и всякий перерыв будет по определению болезненным.

Для меня, человека глубоко автохтонного, прообраз и точка отсчёта, матрица восприятия всех городов вообще — Москва. Каждый город, сколь суверенен ни будь, сколь ни отличаешься он от моего Первогорода — непременно ухитряется обнаружить в себе что-то московское и сделаться мне понятным именно через это.

Москва — один из моих собственных обликов: со всеми сложностями, трудностями, неоднозначностями и неизбежностями отношения к ней, которые свойственны и отношениям с собственной неустранимой персоной. Она — и большая, бесконечная записная книжка, в которой поверх (не очень-то тщательно стираемых) старых записей накладываются всё новые, новые, новые. Между мною и Москвой нет границ. Мы с нею срослись в одно большое, неуклюжее, нерасторжимое целое. Она — моя большая медвежья шкура, а я — её внутренний медведь.

Она — даже почти уже и не город. Город — это просто один из аспектов её существования. Иногда даже не самый главный.

Потому-то, видимо, на собянинские преобразования в Москве, на его зачищающую город практику у меня непопулярная точка зрения.

Нет, мне совсем не нравится то, что он делает (в частности, не нравится преобразование живых, сложных и многомерных некогда улиц в плоские пешеходные зоны, мне это видится вымертвлением и упрощением живого города; не говоря уже о разрушении исторических зданий с многодесятилетней памятью). Мне мучительно насилье над городом, из которого уже вычищены таким образом некоторые ключевые точки моей памяти. Но думаю я о том, что — что бы Собянин ли, другой ли кто тут ни выделял, Москва не перестанет быть

собой, она так устроена. Она будет восстанавливать себя из любого материала, любой материал перерабатывать в себя.

Большевики, живодёры пострашнее нынешнего мэра, перекраивали её, снося непредставимо, недопустимо громадные пласты жизни и памяти, ещё и гораздо круче. Москва имела все шансы стать чем-то до полного неузнавания другим — и всё равно узнаётся.

Москва — город-палимпсест.

Этот город состоит из утрат. Пуще того — он создаётся ими, рождаясь из постоянных — и, разумеется, катастрофических — отрицаний самого себя.

В нём есть какие-то гармонические силы, залегающие гораздо глубже всего этого и позволяющие ему всё это выдерживать.

Есть города, в которых время копится столетиями, тысячелетиями, нарастает слоями на стенах, не разрушаемых на протяжении жизни неисчислимых поколений; которые все уже состоят из времени и памяти как из основного своего материала, почти вытеснившего камень, растворившего его в себе. Жизнь тихо, терпеливо, непрерывно намывает в них себя, наращивает, будучи уверена, что никуда не денется. Входя в такие города (хоть в ту же Падую, которую не перестаю вспоминать, прожитую на протяжении одного-единственного, огромного, интенсивнейшего апрельского вечера, — бывает опьянение городами, интоксикация городами? — ещё как бывает),ходишь сразу в плотную-плотную — почти твёрдую — толщу чужих жизней, их смыслов, предмыслий и снов, в надышанный поколениями воздух.

Но Москва, которая всю эту наросшую шкуру время от времени резко и болезненно с себя сбрасывала, тоже ведь — вся целиком — состоит из времени и памяти. Это и её основное вещество. Только содержится оно в воздухе — и вот уж оттуда точно неизъемлемо.

Сколько ни соскребай написанное, всё равно будут проступать сквозь новейшие записи старые соскобленные строки,

а ещё того сильнее — основа, которая все их держит, все их превосходит. Станным образом, город — всякий город — создаётся не зданиями, даже не комплексами их, не теми структурами, в которые они срастаются. Он создаётся идеей, разлитой в воздухе, впитанной в изгибы пространства, в землю, в стены каждого из нововозводимых и новоразрушаемых зданий. Дома, улицы, кварталы, районы замышляются, появляются, исчезают, забываются, вспоминаются и забываются снова, а город, упрямый и упорный, — остаётся.

Москва вся изъедена норами времени. Есть места, где я «проваливаюсь» в 30-е, например, годы — когда не только меня, но и моих родителей не было на свете, а я проваливаюсь в них как в чувственную реальность. Есть места, утягивающие в 50-е, 60-е, 70-е; есть те, что засасывают в чужие жизни, и уж давно много таких, которые отправляют в мои собственные другие возрасты. Москва — магический город.

Но главное, центральное, самое глубокое, совпадающее с первичным молчанием — это Юго-Запад.

Он расходится концентрическими кругами от своего порождающего эпицентра, от самой горячей и глубокой своей точки — от Красных домов на улице Строителей (шелестящее, жёлтое, прохладное имя — уравнивающее раскалённость этой точки, смягчающее её, делающее её выносимой).

Красные Дома: точка сборки

В дошкольном детстве я была уверена, что живу в Центре Мира. Не сомневаюсь, что такая уверенность была в своё время у каждого, но у меня-то были осязаемые доказательства! Ведь я жила в Красных Домах, от которых по красной ветке метро можно прямо и быстро доехать до Красной площади, — и всё это в городе, обозначавшимся на некоторых картах красной звездой! За минувшие с тех пор десятилетия каждое из этих доказательств почему-то утратило свою убедительность

(хотя да, по-прежнему и Красные Дома, и красная ветка метро, и Красная площадь где-то у неё посередине — всё на месте, разве что без красной звезды) — чувство центральности, как ни странно, осталось в полной своей силе.

В смысле «экзистенциального рельефа» это место, где обитаю я и по сию минуту — место максимально *низкое*: всё окрестное и неокрестное пространство, по моему чувству, мягко, плавно, но неостановимо стремится сюда, стекается к нему, как в воронку. И только здесь останавливается, замирает в блаженном спокойствии. Это *абсолютная точка* пространства (причём, как ни смешно, центр — мира, да, — находится не в том углу дома, где мой подъезд, а в центре двора, где фонтан. Она и сегодня неизбежно там: *низкая и светлая*.)

Очень люблю эти места — как человека. Чувствую с ними сильную телесную связь.

Здесь хорошо дышится. Сам вид этих мест сообщает мне особенную, спокойную и надёжную внутреннюю свободу (состояние, вообще мало мне свойственное, но здесь его можно черпать горстями, грести охапками), и нигде не бывает надо мной так много неба, как над Воробьёвыми горами. У этих мест есть своё время. Здесь всегда чуть-чуть — всегда, в любое из времён года — записанная на эти пространства, как на пластинку, ясная ранняя осень, любимейшее и главнейшее из состояний мира. Здесь человек (во всяком случае, если он — я) всегда получит свой глоток сентября. А во дворах Красных Домов — всегда немного густой июль, склоняющийся в август, спелый, как малина, с большими запасами тепла внутри, на все холода.

Жить на одном месте — предприятие из увлекательнейших, — и, разумеется, из самых глубоких.

Время — влага, и у него бывают глубокие затоны. Есть предметы, сырые от времени. Непроходящей сыростью.

Впитывая время, насыщаясь им, предметы тяжелеют. Наливаются соком и (горькой) сладостью, как спелые плоды. То же относится к пространствам.

Здесь — пространство тяжёлое, сладкое. Оно не снашивается от многолетнего употребления, не притупляется, но, наоборот, — нарастает. Наполняется глубиной.

Оказывается, можно добывать глубину простым многолетним обитанием на одном и том же месте, даже без специальных усилий — глубина оказывается естественной производной существования.

Его надо всего лишь накопить и сгустить.

Чем дольше живёшь, не меняя пространственных координат, тем больше опыта аккумулирует в себе обитаемое пространство, тем более насыщается оттенками и подтекстами, тем более оно стереоскопично — и голографично: по любому его сколку восстанавливаешь всю свою, и не только свою, жизнь; каждый его фрагмент прозрачен до непроглядного дна и светится. Разумеется, к некоторому возрасту не избежать перенасыщения пространства этими подтекстами: оно уже слова тебе в простоте не скажет, каждая его деталь подвергается бесконечному уточнению и превращается в овеществлённую память, уводит в воспоминания о воспоминаниях, в воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях... Каждая его черта своим существованием отсылает к томам примечаний и комментариев, которые ты не можешь не читать, хоть зажмурься: будешь считать их всем телом, по рельефу, по объёмам воздуха. Пространство само превращается в твоё собственное тело; без него тело как таковое, не говоря о душе, утрачивает объём, становится лишь заготовкой, возможностью самого себя — лишь в привычном, накопленном обиталище обретая полноту реальности.

«Чужая» среда для нас нема, или мы способны расслышать в ней только самые общие и самые грубые сообщения, окрики, сказанное в лоб. «Своё» — царство оттенков, нюансов, обертонных, намёков.

«Собственный» город — жирная почва, на которой всё время растёшь. Её невозможно истощить: она постоянно

обогащается, нарастает. Чем дольше живёшь в городе, тем больше есть что ему сказать (и о чём с ним помолчать, естественно).

Каждое движение здесь, по видимости лёгкое (потому что автоматическое: ну кто думает о том, как он спускается по лестнице или вызывает лифт, как привычно срезает дорогу через школьный двор, как ходит через ту, а не через эту арку, потому что так однажды пошли в 1983-м — и с тех пор, в память об этом, *традиция?*), на самом деле многократно утяжелено: облеплено ассоциациями, памятью о многочисленных своих повторениях, обременено далеко вглубь уходящими корнями. В «чужой» среде мы выполняем в значительном объёме «голые», едва ли не асемантические действия, — точнее, с одной только «прямой» семантикой, почти без подтекстов.

И ещё: живя в одном и том же пространстве долго-долго, однажды вдруг ловишь себя на мысли, что ведь оно — которое ты застала при рождении практически готовым — моложе тебя. Потому что куда более тебя, скоропреходящей, мимолётной, переполнено возможностями и своим огромным, уже неизвестным тебе, будущим.

И распаивается в это будущее так же безоглядно, как и полвека назад.

Изначальные пространства — дом и двор младенчества и детства, их окрестности — воспринимаешь, с самого начала и потом всегда, помимо их «красоты» или «некрасоты» (в самом раннем восприятии нет этих категорий; когда появляются — не помню). Видишь их как иносказания собственной внутренней структуры, нет — как её прямую речь. Одна часть двора означает страх, другая — защищённость, третья — надежду, четвёртая — глубину... Они означают их до имён, прежде (словесного) языка, потому что они сами — язык. На это первоувиденное, первопережитое всю жизнь, как на основу, хотя бы и не осознаваемую, укладывается, его форму принимает всё, что будет пережито. Оно точно, без зазоров распределяется по квадрату изначального двора.

Юго-Запад: От земли до неба

Юго-Запад. Беляево, Коньково, Тропарёво-Никулино. (Что ни имя — то «круто налившийся свист», горячее от смысла, скачущее от нетерпения быть, — имена-мячики, только лови!) Проспект Вернадского, в самом имени которого мне всегда чудился крепкий горный воздух, вот это «рн» — будто, усилием одного движения, забитый нос прочищается, и начинаешь дышать, — проспект Вернадского «на выдохе», там, где скатывается к улице лобастого Лобачевского и, пересекши её, совсем уже впадает в окрестности метро «Юго-Западная» — живое воплощение открытости, даже распахнутости. Весёлой и умной неготовности существования. Места, жарко-родственные моему черновиковому Чертанову (а то, в свою очередь, — всегда весне, ранней, безалаберной, неряшливой, чёрные проталины из-под снега, солнечные кляксы недалёкого ещё небытия, жизнь пробует себя на растущий зуб, на бьющий озноб) — и началу жизни.

Первые её пробы, серые и грубые — и тем более настоящие. Юность — ещё до обрастания красотами и защитами более поздних возрастов. Грунтовка холста; первые неумелые на нём краски.

Здесь всегда весна, даже когда осень, даже когда зима или вообще какое-нибудь невыносимое в своей плоскости лето. Здесь нормально — и даже должно — быть несовершенной, незавершённой. Перерастёшь же.

Здесь всё — рост.

Жизнесмерть моя, конценачало. Как не просто близко — едино и взаимопроникнуто в них всё. Все мои начальные и рубежные времена, тучные от возможностей (как грозовые тучи! — и да, не замедлили пролиться дождями), гудящие от роста. Близкие совсем.

Сюда — за чем бы ни отправлялась — всегда ходишь подпитываться началом, размахом молодости (от «Университета» до «Юго-Западной», от «Юго-Западной» до Очакова — всё она!), переполняться им.

А вот если в другую сторону, до Воробьёвых гор и Лужников, — там уже чистая — хотя и телесно переживаемая — метафизика.

Лужники — линза пространства, собирающая в себя небо. Ленинские-Воробьёвы горы — первый, ещё младенческий, опыт крупности и смелости существования. Это — место, где жизнь крупна, — максимальна, предельна, — даже когда просто там стоишь.

Мне кажется, на меня повлиял сам рельеф Воробьёвых гор, территория Университета, по которой в разных обстоятельствах, на разных этапах жизни, включая самые начальные, много хожено и в разговорах и молча, — в смысле общего чувства жизни. Повлиял прямолинейный размах этого пространства (в нём само слово «пространство» разворачивается с сильным хлопком, как большой парус, — и чувствуется его жёсткая, шершавая парусина), небо над ним, вид Лужников и Москвы со смотровой площадки — самим количеством неба и чувством мощного тела земли. Мне давно подозревается (скорее всего, ошибкой, — но это же *моя* ошибка, меня она и формирует, — на правах внутренней истины), что тот, кто как следует, прочувствованно стоял под этим небом, уже никогда не согласится внутри себя на мелкость, узость и ограниченность, всегда будет тосковать по крупному и тянуться к нему.

География ли это? География — крупнее, масштабнее, а тут — скорее, топография, ландшафт.

Это — пространство требовательное, категоричное и щедрое, — дающее одним большим жестом всё бытие сразу: держи. И знает, что удержись.

Мне кажется, что именно под влиянием этого ландшафта, с его образом в качестве внутреннего стимула мне и по сей день хочется расти во все стороны — и быть прямой, смелой и сильной, как линии, его образовавшие — и крепко держащие его над небытием.

Воробьёвы горы и Лужники всегда, начиная с младенческих первовпечатлений, были пограничной областью между

землём и небом, принадлежащей столько же первой, сколько и — если не больше — второму. И вообще не удивлюсь, если этот стадион, летающая инопланетная тарелка, поднимется однажды да и улетит. А вслед за ним и гигантский звездолёт ГЗ МГУ, а уж за ним — и мы все.

Отступление: Черновик бытия, помарки на полях. Чертаново

Очень возможно, для полноценной душевной динамики, для качественного смыслогенеза человеку необходимы и родины — то есть точки становления (а они, да, множественны) — утраченные, куда можно и необходимо время от времени ездить за подлинностью существования. Тут важно само напряжение утраты, сама задаваемая ею дистанция.

Такую роль выполняет у меня Чертаново — один из не самых изначальных, но коренных топосов детства.

Чертаново — черновик моего бытия, быстрыми небрежными штрихами прочерченная его, будущего, схема. (Метро «Университет» — густой его замес, замешивание материала для его лепки.) С Чертановом связаны несколько огромных, интенсивных лет детства. И эти годы до сих пор огромнее всех остальных, — соперничать с ними в огромности способно только младенчество. (Но оно, конечно, и не соперничает, — оно тихо довольствуется своим.)

Чертаново — пространство живого возникновения.

Как сиюминутные впечатления помню деревню и сады вдоль Варшавского шоссе сорок с лишним лет назад, — огромный страшный чуждоватый мир по сравнению с моей уже тогда обжитой улицей Строителей — и новорождённые кварталы Чертанова, которые, о чудо, — были младше меня — совсем ведь маленькой. Чистая магия — на моих глазах рождался город! И через раскисшие от грязи пустыри вели доски, по кото-

рым ходили от дома к дому, и дома были такими новыми, что ещё не вполне домами.

Смётанные размашисто и торопливо, на живую нитку, слишком простые внешне, чтобы выглядеть настоящими — дома по Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Чертановской казались временными: поспешными набросками того, чему только предстоит состояться.

Чуть позже на моих глазах строились дома Северного Чертанова — долго, долго, как казалось тогда, детское время длинное, — и невероятно волновали воображение. Мнилось, в них должно быть совершенно особое состояние времени-пространства, позволяющее путешествовать во времени (любимая до навязчивости, если не сказать — до одержимости, идея детства) или улетать в космос прямо на этих домах, как на ракетах. Казалось, там должны жить необыкновенные люди — или, если они вдруг обыкновенные, то, пожив там, должны необыкновенными становиться. Рассказывали, будто там есть двухэтажные квартиры, что опять-таки воспламеняло воображение и почему-то вселяло в мой юный ум (впрочем, тоже любимую с младенчества до одержимости) идею двойственности бытия, тайного — а то и явного — близнечества вещей. Мечтала попасть внутрь — ни разу не случилось.

И даже теперь, когда новостройки семидесятых постарели и обветрились — во мне жива новизна этих пространств, их юная, негнущаяся жёсткость, их удивлённость самим себе.

По этим местам хорошо ходить и думать (по крайней мере, мне). Они и в детстве представлялись, и, раз так впечаталось тогда, то и теперь кажутся идеальной рамой для самосознания: с их сдержанными, небрежными, а теперь уже и заметно усталыми формами. Они не навязывают себя восприятию, позволяют ему работать в своём ритме, не отвлекаясь на окружение. Такого, конечно, не делают мои родные окрестности Ленинского — Ломоносовского, которые сами по себе — полнокровная, самовластная речь. Их надо слушать и слышать, они много чего сообщают (представляю, какво человеку,

живущему, да в повседневном режиме, в совсем насыщенных и эстетически напряжённых городах, таких, как, например, Прага. Нет, я себе этого не представляю).

Чертановские улицы — пространства на грани бормотания и молчания. Пространства шуршащей внутренней тишины, тихого дыхания. Пространства для внутренней жизни.

Мне и сейчас иногда (как приеду туда, так особенно) хочется там жить. Всё воображается, что это задало бы жизни какую-то совсем другую — и уж конечно, более правильную — формулу и форму. Впрочем, несбывшееся — великий утешитель.

Внутри внешнего: Так души смотрят с высоты

И только в этом марте — впервые в жизни, во втором её полу столетии — попала я по прикладной рабочей надобности внутрь Дома Преподавателей на Ломоносовском, на Той Стороне Ломоносовского, на дальнем его берегу, — в дом, который всё детство воображался мне далёким волшебным замком. Мне и по сию минуту странно и волшебно, что он настоящий и там тоже живут люди, вполне сопоставимые по настоящести со мною недостойной (ведь по идее-то так быть не должно, жить там должны, разумеется, духовные сущности, и находиться он должен, конечно, в другом измерении). Впервые в жизни увидела, как выглядит с высоты его десятого этажа (так души смотрят с высоты) пространство, которое я уже то самое второе полу столетие топчу пешком, терпеливо проецируя на него жизненные смыслы, — смиренная, хорошо обжитая горизонталь стремительно приросла, расширилась, перевесилась дерзкой, головокружительной, распахнутой вертикалью. И Боже мой, даже теперь, на шестом печальном десятке лет, это немедленно предстало мне как очередное доказательство таинственной неисчерпаемости изначально обитаемого мира.

Смешно сказать, стыдно признаться: Рим и Иерусалим, Афины и Стамбул не потрясли меня так, не трогали так сильно, так необычно и точно, как вид двора дома № 18 по Ломоносовскому из дома № 14 по тому же проспекту, двора, через который хожено столькими многократными, не имеющими никакого общекультурного значения путями. — Потрясли, конечно, и трогали, но совсем иначе — и да, без такого уязвления в самое сердце. По той, на самом деле, самоочевидной причине, что Рим и Иерусалим, Афины и Стамбул — это обо всех, о человечестве вообще, а двор дома № 18 сверху — это только обо мне, о моей единственной жизни и о других единственных жизнях, сплетённых с моею одной из важнейших, из не вполне вербализуемых тайн: тайной пространственно-биографической общности.

Сильнее этого разве что виды двора Красных Домов из не виданных прежде точек. Но то вообще сплошная магия, имеющая дело с корнями бытия, о которой правильнее всего, точнее всего — молчать.

В силу того простого, случайного и непреодолимого обстоятельства, что в этих пространствах начиналась моя жизнь, — а начиналась она долго-долго, так долго, что и теперь ещё не может привыкнуть к тому, что не начинается, не умеет в это поверить, — здесь всё пропитано будущим, переполнено им. Были огромные, необозримые запасы его здесь в шестидесятых (я их ещё помню!), в семидесятых, в восьмидесятых, даже в девяностых, даже в двухтысячных. Было бы неприлично признаться в том, что им же было полно всё здесь даже в две тысячи десятых, — но ведь правда же было. Эти пространства так долго, подробно и внимательно обещали будущее, так долго означали его, что стали просто тождественны ему, стали воплощённой перспективой, осязаемым, твёрдым, надёжным обещанием. Прошлого, которое они в себе накопили за все эти десятилетия, просто не получается вспомнить без огромных запасов будущего в нём. Эти улицы, дома и дворы и сию минуту полны свежим, крепким будущим, как воздухом. Пока

я здесь, всё оно — во всей его неисчерпаемости — со мной. Всё — здесь и сейчас.

Кажется, останься я без этих пространств — осталась бы без пластического чувства будущего, без убедительного, мускульного переживания самой его возможности.

И гораздо больше всех странствий по всем мыслимым странам света даёт мне, как ни дико звучит, путь к дому через дворы от метро «Университет» — с терпеливыми её ежедневными повторениями. Это одна из самых насыщенных, самых всеговорящих дорог на свете, — да, собственно, самая.

Другие города и земли острее всего как феномен воображения. Впрочем, как такой феномен вообще всё острее всего.

И только дорога к дому от метро «Университет» — реальность.

2012—2018

Первоэлементы: метафизическая кириллица

Не относись, благосклонный читатель, к «Первоэлементам» особенно серьёзно. Слово «метафизика» употреблено в применении к ним метафорически (на что, согласись, оно имеет полное право, как и любое другое слово). Не стоит искать в них также соответствий с историческим(и) контекстам(и) бытования кириллического шрифта, принципиальной независимости от каждого из его преходящих обликов и следования, напротив того, инвариантным его структурам. Это вообще никакое не исследование, а смысловая работа (всё-таки; хотя в значительной степени, конечно, и игра. Впрочем, разве игра — не смысловая работа?) другого типа.

Примерно вот какого: это — попытка уловить и уложить в хоть какую-то систему (для обозримости) ассоциации — неминуемо личного и субъективного порядка — порождаемые в авторе формой букв как простейшим стимулом. Форма букв в одном из её исторически случайных вариантов играет тут примерно ту же роль, что, скажем, заданные рифмы, используя которые, предлагается написать стихотворение собственного содержания. Подобные стимулы нужны для концентрации внимания. Но это их роднит со всякими условностями вообще.

А а

В двух обликах этой буквы — прописном и строчном — воплощены два принципиально разных подхода к жизни (что

в начале алфавита весьма уместно: сразу заявляется двойственность — по меньшей мере — обозначаемого существования). Прописная «А» — устойчивость (палатка, разбитая человеком в самом начале обживания мира с помощью букв) и угловатая категоричность (естественное душевное движение начала — подростковый максимализм). Одновременно заявлена (верхним острием) и устремлённость вверх, по крайней мере, на уровне намерений — вытянутость к небу при твёрдой опоре на землю равномерно расставленными лапами. Срединная переключательная знаменует собой, надо полагать, срединную же зону обитания человека, повседневность, соединяющую и уравнивающую высокое и низкое. Таким образом, в «А» прописной представлена схема обозримого человеком мира в целом.

Строчная «а» — мягкий, гибкий росток, едва начавший расправляться. В ней — предчувствие и напряжение будущего роста. Нижняя петелька-капелька — запас жизненных соков, которым только предстоит наполнить силами созревающую жизнь. Решительный рывок вверх пока не состоялся — буква вся ещё сгруппирована около земли и целиком воплощает собой органическое, земляное, влажное и текущее начало.

Б б

Вторая буква кириллицы тоже двойственна — и тоже «программно»: всё ещё начинающемуся алфавиту по-прежнему необходимо утвердиться в двух «ведущих» модусах существования: конструктивном-рациональном и органическом-интуитивном. Оба надо обжить, и «Б» — буква обживания. В том числе и — взаимоосвоения этих начал, приравливания их друг к другу. В прописной Б это очень видно.

Вообще-то прописная Б отчётливо берёт на себя роль представителя конструктивного начала: столб (стена?) с кры-

шей (без всякого устремления вверх — скорее наоборот: категорично и однозначно отгораживающаяся от неба). Но это не просто стена с крышей, а дом — призванный укрывать что-то большое, округло-органическое, вызревающее под крышей, взбухающее, как квашня: нижний овал — маленький домашний мир, кажущийся себе большим.

Отличие от строчной «а», обращённой лицом ещё влево — в доначальное небытие, ещё полной памяти о нём — строчная «б» развёрнута вправо — к будущему. Нижняя её капелька, по сравнению с «а», заметно больше набухла, а верхний росток делает попытку — пока робкую — выпрямиться.

Б — земная буква, буква строительства и выращивания, но не отрыва и полёта.

В в

В — торжество органики, вегетации. Возрастание, взбухание, выпячивание распираемых жизнью полостей. Вся целиком обращённая в будущее — вправо, глядящая в него белёсыми вытаращенными глазами, отгородившаяся от прошлого слева твёрдой прямой линией. Стихии её — влага и воздух, — влажный воздух, не столько возносящийся вверх, сколько пластающийся по горизонтали. Буква, вообще по существу горизонтальная — даром что вытянута по вертикали: самое вертикаль она преобразует в горизонталь, по которой готова растечься — уберит только поддерживающую палочку. Вялое тавтологичное ветвление, почти пассивное, почти исподволь. «В» — почти-тупик: возвращается к себе, упирается сама в себя перемычкой между верхним и нижним овалами. Вязнет в себе, как само — предоставленное себе одному — естество: верх у неё неотличим от низа (разве что чуть поменьше: неинтересны этой букве «верхние» измерения бытия), строчная буква — послушное повторение прописной: от растения только и может родиться, что такое же точно растение.

Г г

Г — торжество и утверждение конструктивности и рациональности: гордой, голой, горькой. Гвоздь, забитый в бытие, чтобы закрепиться. Прямоугольный железный крючок; линейка, по которой бытию предлагается себя вычерчивать. При всей своей вертикальной вытянутости «Г» — по своей «метафизической динамике» — совершенно горизонтальна, подобно «В». И от прошлого — того, что слева, и от верхней бесконечности — буква категорически отгораживается, навешивает над собой прямой и жёсткий козырёк (да ещё с засечкой, чтоб вернее) и разворачивается этим козырьком к надёжно — как она уверена — спроектированному графическому будущему: вправо.

В отличие от «Б», прикрывавшей таким же козырьком таинственное внутреннее возрастание нижнего овала, «Г» прикрывает — пустоту. Защищать-то ей и нечего.

И заметим — снова полная тавтологичность: строчная «г» с механической точностью повторяет прописную. Серийное производство. Конвейер. Буква-остановка: как будто двигаться некуда. Буква-точка. Угловатая и категоричная, она не допускает сомнений. Она настолько окончательна, что впору бы на ней и алфавит заканчивать. Правда, алфавит не слушается её и идёт себе дальше — не властна над живой жизнью проектирующая рациональность.

Всё это наводит на мысль: чистое конструирование, как и чистая вегетация, — пробующие себя в третьей и четвёртой буквах алфавита, — ни к чему интересному и плодотворному не ведут.

Интересное начинается, когда они выходят из самоуверенности и самодостаточности и начинают взаимодействовать.

Д д

Д — буква-дом, буква земного устройства, но, в отличие от железно-крючковой Г, не прямолинейного, а объёмного.

Деревянная, древесная, держащая — кусок бытия в себе: он вполне ограниченный, этот её внутренний четырёхугольник (по сторонам света, что-ли? Ведь дом — мир в миниатюре!), но он объёмный, — и поэтому буква — дышащая. В Д конструктивное и органическое начала — при некотором преобладании конструктивного — воссоединяются и начинают сотрудничать, взаимопрорастать.

Д консервативна: от неизвестного будущего — отгораживается прямой решительной линией, к хорошо освоенному прошлому — поворачивается мягкой, плавной, тоненькой левой стороной-мембраной своего четырёхугольника (ею-то и представлено органическое начало).

Поэтому, как всё консервативное, тавтологична и она: маленькая «д» послушно повторяет «Д» большую. Однако эта тавтологичность — не тупиковая.

В этой букве есть выраженная, хотя и сдержанная, заявка на вертикальность: хоть она и прикрывается сверху крышечкой-козырьком от неизведанного неба (ведь надо же всё-таки дому от него защищаться!), но этот козырёк заметно меньше основания. И главное, главное: Д привстаёт на цыпочки — единственная из всех букв, — не лепится к земле, но — цепляясь за неё нижними зацепками — одновременно от неё отрывается, тянется вверх. Она позволяет гулять между собой и землёй — широкой полосе вольного воздуха. «Дом», напоминая она тем самым, вполне способен быть средством «вертикальной» настройки человека (для которой, разумеется, необходима значительная степень защищённости — а то ещё сожгут человека верхние слои бытия). Тем более, что Д похожа и на ракету для космических путешествий: не даром в одном из своих графических вариантов она изображается с остроугольным верхом!

Е е

Е — буква ориентации в мировом пространстве, разметка его на уровни: верхний, средний и нижний. Схематическое по-

вестование об устройстве сущего (недаром, кстати, её старославянское имя — «есть»).

Области эти могут быть, например, такими: тело — душа — дух. Или так: природа — человек — духовные сущности. При этом средняя линия бытия, чем бы она ни была — душою ли, человеком ли между небом и землёй — самая из них короткая: ведь она — всего лишь посредник между противопоставленными доминантами бытия. Конечной своей засечкой она тянется как вверх, так и вниз. А верхний и нижний уровни своими конечными засечками смотрят друг на друга. Даже — тянутся друг к другу.

И ещё один важный урок «Е»: все три области бытия параллельны друг другу — и укоренены в чём-то одном (общая их вертикальная опора). Может быть, это бытие в целом?

У прописной и строчной буквы — разные задания, а потому и разные облики.

Прописная-конструктивная «Е» предлагает схему бытия в чистом виде — без интерпретаций. Чистая, голая и жестковатая констатация факта. Этот облик буквы — категоричен; полагает выделяемым областям жёсткие границы. Ориентирован он, как легко видеть, на будущее: прошлое, как хаос неразмеченного, неупорядоченного бытия, его не волнует.

А вот строчная «е» — органическая, растительная — предлагает ещё и некий проект: мягко, как это свойственно округлому, намекает на то, «что делать». Своей верхней петелькой она предлагает срастить средний и верхний уровни существования (и своей округлой формой оберегает это сращивание). Душу — и дух, человека — и небо. Она даёт понять, что у человека больше общего с небом, чем с землёй, у души — больше общего с духом, чем с телом. Но и нижний её росток тоже чувствует свою несамодостаточность: тянется вверх — к небу.

Поэтому, конечно, Е — вертикальная буква. Буква осмысленного роста.

Ё ё

А вот Ё — буква невозможного. Буква выхода, даже скачка — за пределы размеченного мироздания. Именно об этом повествуют две её точки: они схематизируют прорыв за сферу духа и небес, ясно очерченную верхним элементом предыдущей буквы. Причём то, что их две, а не, скажем, одна — выдаёт, похоже, сомнение. Как бы топтание с (графической) ноги на ногу. Потому что куда двигаться дальше и что там делать — совершенно непонятно.

Тем более, что и в освоенном пространстве опереться не на что: точки оторваны от буквы, между ними и ею — пустота.

Однако сам жест — заявлен. Он уже — культурный и экзистенциальный факт, от которого никуда не деться.

Недаром Ё — буква поздняя, изобретённая одним-единственным человеком (насколько знаю, Карамзиным), умозрительная. У неё поэтому даже и старославянского имени нет, в отличие от её сестёр по азбуке. И вообще многие полагают, что без неё в принципе можно обойтись — и обходятся ведь.

Ё — буква риска и безопорности. Буква экзистенциального избытка.

Конечно, можно обойтись и без прорыва за пределы освоенного и размеченного. Но само существование буквы Ё — намёк на то, что в этом всегда будет некоторая неполнота возможностей. Хотя бы и графических.

Ж ж

Ж — буква энергичного и агрессивного человеческого самоутверждения, экспансии во все представимые области бытия. Центробежная буква, самоуверенно разлетающаяся во все стороны, торопливо расплывающаяся по лицу пространства, жалящая и язвящая всё, что ей попадается на пути. Жирный жук, жадная жужелица, она жаждет ползти

сразу во всех направлениях. Жарко-категоричная и жёстко-прямолинейная, она уверена, что ей подвластны все сегменты мироздания: и небо, и земля, и прошлое, и будущее. Во все эти направления она протягивает свои совершенно однотипные отростки, насаживает на себя окрестное пространство, как на шампуры. Разве только к верхним областям бытия она тянет щупальца чуть более мягкие и гибкие: чует всё-таки мощь высшего, несколько — самую малость — сгибается перед ним. Но буква всё равно горизонтальная: не верхние области бытия как таковые интересуют её, а вторжение в них. Жилистыми же нижними лапками она укореняется на земле. Её задача — захватить как можно больше пространства. Она жжёт лицо бытия, она не бережна к нему.

Должно быть, Ж — формула жизни человека антропоцентричного Нового времени: недаром её славянское имя — «живете». Вот так вы, люди, и живёте, — даёт она понять. Может, это буква-упрёк?

З з

«З» — буква ретроспективы и органичности. Это рост, помнящий свою историю — рост с рефлексией; рост, уже подводящий некоторые — самые начальные — итоги себе. «З» — буква обжитого мира. Обращённая к прошлому, буква заботливо сберегает в своих полуокружностях воздух пройденного пути — запасливая буква, запасается памятью в долгий предстоящий путь: до конца алфавита ведь ещё шагать и шагать. И при этом в ней нет остановки: она, округлая, полна движения, и движение это — вертикально. Вообще-то буква по преимуществу земная: в некоторых её вариантах верхний элемент заметно меньше нижнего. Но на своей земляной природе она не так уж и настаивает («З» вообще не категорична): есть у неё и варианты, в которых верху и низу, земному и надземному, телесному и умозрительному она, всепринимающая, отводит равного размера полости в себе.

Строчная «з» — в сложных и разнообразных отношениях с прописной. В печатных шрифтах она её послушно повторяет — впрочем, выполняемая этой буквой, сберегающая и согревающая работа так важна, что не грех и повторить, для закрепления. Тем более, что буква вообще утверждающая: её славянское имя — «зело». А вот в вариантах рукописных маленькая «з» обычно обретает самостоятельность и, пока прописная тянется вверх, осваивает вертикальные измерения, — она выполняет «заземляющую» роль, запускает в землю петельку-корень. (Нечто подобное, кстати, делает в своём рукописном варианте и строительница-«д»).

И и

И — буква укреплённости и подъёма; старательного терпеливого — и прямого, без извилин, вверх — карабкания. Буква решительная до категоричности и безусловно вертикальная. Лестница в небо — и в будущее: элемент-перекладинка поднимается вправо, по направлению письма — письменного времени. Это буква связывания — верха и низа, должно быть, судя по вертикальности (славянское её имя — «иже», «который»: «Отче наш, иже еси...»), динамического восходящего постоянства. Печатная «И» рациональна и конструктивна до умозрительности: сплошь прямые линии да острые углы. Строчная «и» настойчиво воспроизводит прописную, воплощая категоричность буквы.

Органичность «И» приобретает в своём рукописном варианте, вместе с округлостью. В этом варианте она не перестаёт быть вертикальной — становясь глубокой чашей для приёма и сбережения всего, идущего сверху.

Й й

«Й», ближайшая родственница «И», тянется вверх — и осторожничает; прикрывается от распахнутого неба во-

гнутым верхним элементом — и ощупывает пространство над собой его чувствительными краешками-точечками. Так что верхний элемент — скорее дополнительное щупальце для высоты, — подставленная под неё доверчивая ладошка, — чем защита от неё. Он смягчает категоричную угловатость буквы и, конечно, добавляет ей органичности — а, пожалуй что, и вертикальности.

К к

«К» — буква конструктивности и упорства, покорения и устроения, рациональная и решительная — не без категоричности, конечно. Обращённая к будущему половинка всежаждущей, жизневетвящейся «Ж», она, в отличие от «Ж», не разбрасывается, а концентрируется на одном направлении, в котором и разрастается: тоненько, немного робко — вверх (щупает небо ростком над собой, а тот — по крайней мере, в некоторых шрифтах — набухает капелькой предстоящего роста), резко, уверенно — вниз. Об этой букве так сразу и не скажешь, вертикальна она или горизонтальна — скорее всего, и то и другое вместе — с преобладанием, всё-таки, вертикальности. Это буква-проект: славянское её имя — «како». Разметка пространств разрастания. Модель предстоящих действий.

Л л

Л — буква одновременно и дома — жилья, и роста — восхождения. У неё два варианта (по меньшей мере, печатных) — буква-дом с прямолинейной «крышей» и буква-шалашик с острым верхом, и, соответственно, две графических интонации — обозначающих разнообразие форм отношений между домом и ростом. Эта мудрая буква воплощает в себе ту отнюдь не всегда очевидную очевидность, согласно которой дом и рост не противоречат друг другу, не исключают

друг друга, а предполагают друг друга, нуждаются друг в друге. Этим своим пониманием она очень родственна похожей на неё «Д» — только та более домовита и замкнута. В доме, возводимом «Л», есть что-то временное, переносное, лёгкое: «Л» знает и воплощает и ещё кое-что важное: хрупкость, недолговечность, походность нашей жизни (нашей, нашей: ведь её славянское имя — «люди», — это буква *о нас*). Как и «Д», она соединяет в себе конструктивную рациональность и органичную витальность, причём в букве-шалаше больше первой, а в букве-доме — преобладает последняя.

Любопытно, что эту букву совершенно не волнует историческое, линейное будущее: ни один из её вариантов не обращён вправо. Вариант-дом смотрит в прошлое, гибким элементом-мембраной впитывает его смысловые токи, задумчиво ощупывает пройденный путь капелькой-точкой на конце этого элемента. Дому и положено быть ретроспективным: ведь он накапливает в себе прошлое, даже если — будучи, как «Л», без фундамента — помнит о собственной недолговечности. = Вариант-шалаш, одинаково наклонно-безразличный (стекает с него историческое время!) и к прошлому, и к будущему, смотрит остриём вверх — в вечность.

М м

«М» — буква сложных отношений с вертикальными аспектами бытия, внутренних толчков и противоречий роста. График движения и непреходящего напряжения между небом и землёй. Резко вверх — катастрофически вниз — снова решительно вверх — и опять категорично вниз, — но что-то нет чувства, чтобы этим всё и заканчивалось: в каждой следующей «М» повторится тот же бросок. Метание, маятник, маята. Ни (земное) прошлое, ни (земное же) будущее эту букву не волнуют: только вверх — туда, где времени нет, — или, по крайней мере, вниз, где оно ещё и не начиналось.

Целиком вертикальная буква, несмотря на падение вниз. Буква-бунт, буква-вызов высоте, упругая, упрямая, дерзкая. Это буква-победитель: в ней нет интонаций поражения. Мужественная буква. Пожалуй, знаменует она собой приключения интеллекта: ведь её славянское имя — «мысле́те».

Стремясь вверх, мастеровитая «М» утаптывает землю, устраивая её как площадку для своих будущих рывков. Но укоренений в земле она не ищет: недаром ни в одном из вариантов, ни в печатном, ни в рукописном, у «М» нет подстрочных элементов.

«М» — двудомье: почти-удвоение «Л» в варианте «шалаша» — временно и на скорую руку собранного дома. Не хочет ли она тем самым нам сказать, что у человека — два дома: во времени и в вечности, на небе и на земле? Что оба, по её мнению (всякая буква — это ведь всего лишь мнение о бытии, всего лишь одна из точек зрения на него!), ненадёжны, временны, сквозящи, что существуют они только во взаимосопряжении, и что человек обречён на метание между ними?

Н н

«Н» — буква равновесия, примиряющая вертикаль и горизонталь, объединяющая их в себе: именно поэтому, несмотря на несомненную конструктивность, рациональность и умозрительность (и связанную с ними некоторую холодноватость и отстранённость), в ней — никакого насилия над естеством. Да, растительно-органического в «Н» ничегошеньки, но она даёт решётку-основу, висясь вокруг которой, может расти хрупкое, уязвимое органическое. Вертикаль в ней всё-таки преобладает, включая горизонталь в себя в качестве своего необходимого момента. Эта буква уверенного — и несколько рассудочного освоения мира тянется вверх, очерчивая уже освоенные пространства, задавая им границы. Буква-опора, буква-лестница, по которой можно карабкаться, никуда не сворачивая. В некотором смысле это — буква покоя, чуждая метаний и суетно-

сти, но — восходящего покоя. Покоя, открытого кверху. Буква надёжности — несколько тяжеловатая в своей уверенности и прямоугольности — и надежды. Буква спокойного присвоения мира: не узкого — «мой», но широкого, объединяющего — «наш»: именно так звучит её славянское имя.

О о

«О» — буква всеохватной спокойной полноты, настолько бес(при)страстной и — вроде бы — объективной, что вполне достойной названия отстранённости. Она примиряет, уравнивает горизонталь и вертикаль. Ни прошлого, ни будущего, ни верха, ни низа: округлое, белое равенство всех сторон бытия. Во всех мыслимых своих вариантах, и в печатных, и в рукописных, она всё одна и та же: буква вечности, круглый глаз, которым мы смотрим в вечность с земли — и кажется, будто ничего не видим, кроме пустоты в круге.

Сама собою «О» указывает на мир в целом: её славянское имя, «он» — взгляд на обозначаемое со стороны и с дистанцией — пожалуй что, и с некоторым отчуждением. В своей всеохватности она безучастна: в некотором смысле это — буква отсутствия; отверстие, в которое, не задерживаясь, может войти и выйти что угодно. Прямо посередине алфавита эта буква оказалась не иначе как для равновесия: плавная ось, на которой поворачивается жёсткое, трудное, угловатое и ершистое разнообразие азбуки.

П п

«П» — буква защиты нижнего от верхнего, буква-навес, буква-укрытие. Целиком вертикальная (всей собой помнящая о существовании верхних областей бытия и вертикальных его измерений, пронизанная этим напряжением) — она не призывает нас карабкаться вверх (на то другие буквы существуют — уж они напомнят), но напоминает нам о том, что земное — хрупко и нуж-

дается в оберегании. Поэтому она — буква прочности, постоянства, порядка, покоя. Таково и её славянское имя: «покой».

Да, она проста в своей умозрительной конструктивности — несколько странной для оберегающей буквы, которой, кажется, быть бы круглой, как материнское чрево — и в рукописном варианте строчная «п» отчасти пытается этого достичь — своей правой верхней дугой, но лишь отчасти. Конечно, прямолинейна, конечно, категорична, но, с другой стороны, как без этого противостоять напору угрожающего внешнего хаоса? «П» противостоит хаосу, и довольно жёстко; «П» не из тех букв, что вступают с ним в диалог, хотя бы и плодотворный.

Она целиком в настоящем; ни прошлое, ни будущее её не волнуют. Есть буквы-движения и буквы-остановки; эта, конечно — остановка. Но заметим, прочной основы, прямолинейного фундамента у «П» нет ни в одном из мыслимых вариантов. Её, плотную, продувают ветра. Это и наводит на мысль о том, что остановка — ненадолго. Что ещё предстоит идти. Что «П» — просто передышка.

Р р

«Р» — буква роста, направленного расширения, целиком обращённая в будущее и тянущаяся кверху. Упорная, упругая, она занята исключительно вертикальными измерениями бытия: прописной её вариант застраивает собой воздух, строчный — укоренён подстрочным элементом в земле, тянет соки из неё, но заняты они — одним. Основная тяжесть размещена у неё вверху: это — «головастая» буква Разума и Рассудка, но без прямолинейной категоричности, какая присуща, допустим, «Г». «Р» не вбивает гвоздей в осваиваемое бытие — она охватывает его ближайшие участки округлой, но сильной петлёй.

При всей своей агрессивности, «Р» — внимательная буква: улавливает направления роста своим полукругом-глазом — не

прочерчивает их, рассудочно планируя, как какая-нибудь «К» или «Ж», а выращивает их, позволяет им созреть, набухнуть. Она просто требует от них направленного роста.

«Р» — рубка, капитанский мостик, с которого некий наблюдатель всматривается в предстоящую дорогу. Мачта — и парус, надуваемый ветром. Фонарь, освещающий путь. Но только вперёд: прошлое отрезано прямой линией и в рассуждения «Р» не входит.

Плавный полукруг и резкая прямая — сочетание конструктивности и органики, рассудка и образа. Они немного соперничают в Р, придавая букве напряжение — но в целом уравнивают друг друга.

Должно быть, Р — буква роста *ответного*: в ответ на мир как развёрнутое высказывание, роста осмысленного, пробуждённого, роста-слова — потому что её, буквы-императива, славянское имя — «рцы»: «говори».

С с

Чуждая сложностей, редкостно-цельная С отличается от всеядной, всеуспокоенной О, с которой её роднит округлость — собранностью вокруг заданного направления. При этом ей чужда всякая агрессия, любое переламывание естества: жадная активность С целиком растёт из чётко-направленной восприимчивости. Рациональное конструирование и возведение проектов её, органичную, тоже не заботит. Повёрнутая к будущему, она вбирает всем своим существом ветер, дующий из него в прошлое, и надувается, как парус. Она забирает будущее в мягкую, но сильную скобку — и присваивает его. С собой-серпом она срезает его спелые колосья. Подобно О, она примиряет в себе горизонталь и вертикаль, но задаёт им напряжённое, динамичное сосуществование. В некотором смысле С — буква одной мысли (неотличимой от чувства), но очень большой, вполне соизмеримой со всем объёмом переживаемого мира. Это буква сильного слуха, сосредоточенной

свободы, движения-через-внимание. Случайно ли её славянское имя — «слово»?

Т т

«Т» — буква-опора, — причём, как ни странно, не для земного, а для небесного. Для земного же она, подобно «П» — буква защиты. Эта жёсткая (и, разумеется, категоричная, угловатая, схематизирующе-упрощающая — сплошной рас­судок, — требовательная и без сантиментов) буква не даёт верхним областям бытия чересчур давить на нижние. Это — буква-схема. Она даже не проводит границы, а просто сразу и навсегда их фиксирует. Она — из тех букв, что не интересуются ни прошлым, ни будущим — вся в настоящем, точнее — в некотором «всегда». Образует надёжный навес над землёй, «Т» решительно разводит верх и низ, утверждает их автономию — своей вертикальностью, однако ж, недвусмысленно указывая, где располагается главное. Она подчиняет горизонталь — вертикали, задирая единственную свою горизонтальную линию как можно выше.

Смыслы буквы — терпеливая точность и тонкая твёрдость, вполне соответствующие её славянскому имени — «твердо».

«Т» вообще настолько склонна упрощать, что всю не уместившуюся в ней сложность вытеснила в свои рукописные варианты. Те, в свою очередь, — растительные, органические, гибкие — отрасли себе целых три ножки-щупальца и ощущают ими землю.

А вот и *поздние* буквы алфавита, — угасание его, потемнение, сужение: У, шуршащие, скребущие звуки на его готовой оборваться ленте: Ф — Х — Ц — Ч — Ш — Щ. Хрюканье, цоканье, чавканье, шипение. Хтоники. После их тёмного косноязычия — опыт немоты и попыток сквозь неё промычаться: Ъ — Ы — Ь. И, наконец, — совсем последние буквы, *лунные*

и льдистые, внезапно наливающиеся светом: Э, Ю, Я — истаивание в прозрачность, переход в посталфавитное, в то, что буквами не размечено — и вряд ли будет.

У у

«У» — буква сужения: свёртывания объёма — в точку, распахнутости — в закрытость. Развёрнутая верхней своей частью к небу, она позволяет ему стечь по себе, как из воронки — по жёлобу, в землю. Собирающая буква, да, но и — буква движения вниз. Буква укоренения. (Все буквы, что последуют за нею, будут буквами корней, тёмной возни и фыркания бытия в корнях. «У», буква сумерек, к ним уводит.) Притворяясь умозрительной, рациональной, на самом деле она — буква, стоящая на пороге хтоники. Буква перехода. Буква щели между мирами.

Если прописная «У» ещё твёрдо стоит на земле, не спускаясь ниже, то её строчная сестрица уже запускает свой подстрочный хвостик в почву.

И, кстати, это первая буква в алфавите, лишённая осмысленного имени. Вместо имени у неё — звук, долгий, протяжный, гаснущий в сумерках, серый, как дым из паровозной трубы удаляющегося поезда: ууууу.

Ф ф

Следующая вечерняя буква — «Ф», фонарь, зажжённый в сумерках, — в тех самых, в которые увела «У». Совиные, филиновы глаза в них. В окружности-пузыри «Ф» набрала на всякий случай света: пригодится в потёмках; запасла бытия — будет не лишним в небытии.

«У» — ещё движение, «Ф» — уже остановка.

Это — буква не-движения, зеркально удваивающая «Р» — и тем самым останавливающая её. «Р», «головастую» букву Разума и Рассудка, «Ф» обращает в двуликого Януса

(да, переход всё ещё продолжается, и Янус — бог порогов, переходов, рубежей — тут очень кстати). Её равновесие — статично.

Не вертикальная и не горизонтальная, не органическая и не механическая вполне, «Ф» стоит, как знак разметки границы между этими областями существования, глядя осовелыми пузырями-фонарями по обе её стороны, равным образом в каждую, ни одной не предпочитая. Замыкает границу. Верно стережёт её. «У» — межмиренный сквозняк, «Ф» — замок. У неё не проскочишь. Руки в боки: не пушу.

Славянское имя её, хрусткое, жёсткое, упрямое — «ферт» — собственно (первое среди всех имён алфавита!), не такое уж славянское. Не понятное с ходу, оно нуждается в переводе... точнее, не нуждается в нём, как бы ни переводить. Важно, что внятная речь кончилась: началось бормотание, одичание звуков, глоссолалия.

Х х

«Х» — перечёркивает крест-накрест, с размашистой показной категоричностью, ...что? Да всё. Это — для тех, кого не остановила даже «Ф», сигнальный фонарь угасания, — буква отрицания и отказа. Доски на забитом окне брошенного дома: всё, ничего больше не увидите. И уж конечно, она была бы рада стать последней в алфавите, но алфавит не склонен потакать её гордыне, и после неё будет ещё много интересного. «Х» тавтологична: что вверху, то и внизу; что собрано с неба в раскрытый к нему треугольник без верхней планки, то, всем своим объёмом, и опрокинуто в землю треугольником нижним. В эти раскрытые треугольники, конечно, ветер свищет. Ничего ей не удержать.

Свою беспомощность — руки-ноги в стороны, ничего не удержать — «Х» маскирует бравадой. Её славянское имя, освоенное было языком как эвфемизм, само ведёт себя как обшечное, нахрапистое.

И только рукописный, мягкий вариант «Х», компенсируя крикливую прямолинейность варианта печатного, тихо вслушивается своими ушастыми полуокружиями влево и вправо, в прошлое и в будущее.

Ц ц

«Ц» — рациональный, жестяной, твердостенный контейнер для пустоты. Буква холодного дождя небытия, который проливается сверху в эту незащищённую, но вполне бесчувственную букву и барабанит по её стенкам. Осеннего дождя. Если «П», антиподица этой буквы, — буква защиты нижнего от верхнего, то «Ц» — это буква, которая в защите категорически отказывает. Есть буквы органические и неорганические; эта, конечно, — из последних.

Это буква ноября. Ещё чуть-чуть — и выпадет снег.

«Цы», — цыкает, дребезжит славянское имя буквы, не говорящее нам ничего, — ничего осмысленного: чистое стылое послесмыслие.

И буква вцепляется жестяным, острым, царапающим хвостиком в стынущую землю: не своротить.

Ч ч

Если «Ц» — жестяной безразличный контейнер, то «Ч» — живое и мягкое соответствие ему, чуткая чаша, поднятая к небу, тихо тянущаяся к нему на прочной вертикальной ножке. Вечерняя буква — чёткость и чистота остывающего вечера. По ней тоже стекает холодная вода, но плавно и почти беззвучно — и плещется на дне, тихо согреваясь, — совсем чуть-чуть.

Может быть, это буква покачивающегося — как колыбельная — сожаления об утраченном. Это заботливая буква. Сберегающая — не расплескать бы.

«Ч» не обещает перспектив. Она — буква прошлого, обёрнутая влево, к алфавиту, остающемуся позади.

Это — буква органическая (чувственная! уязвимая!), о чём напоминает нам её славянское, после бормотаний и глоссолалий вновь ясно осмысленное имя — «червь» (в соответствии этому имени мягко гнутся, гибко выются её рукописные варианты). Пусть его могильный соименник не придёт нам на ум: перед нами, что бы ни пытались утверждать следующие буквы, — ещё долгая дорога.

Ш ш

«Ш» — буква-забор, буква-преграда. Хочется вообразить себе нечто увитое кривыми ветвями какого-нибудь колючего растения, но нет: доски, шероховатые, но прямые, твёрдые, из которых вытесана всякая кривизна (она ещё вернётся к нам в рукописных вариантах буквы) и сучковатость (её рецидивы случатся далее по мере продвижения вглубь алфавита — точнее, уже к его краю).

«Ша», — говорит нам буква что-то не совсем славянское. Хватит, мол, стойте уже. Но так мы ей и поверили.

Тем более, что эта — вертикальная, напряжённо обращённая к небу, тянущаяся к нему, вся — его восприятие и при этом твёрдо стоящая на земле — буква далеко не так категорична, как хочет казаться, и сильно уступает в этом всеперечёркивающей «Х». Между рейками её штакетника — большие просветы. Что мы в них увидим?

Щ щ

Кажется, преграда между алфавитом и пространствами посталфавитного, неразмеченного, непоименованного начинает расшатываться. Размеченное пространство защищается. «Щ»-щит — последняя попытка укорениться: буква запускает цепкий хвостик в землю, впивается, но размер его чересчур мал для того, чтобы удержать в равновесии и прочноности всю конструкцию.

И это добавляет такой техничной с виду букве — органичности.

«Щ» — буква усилия помедлить, завязнуть («ща!» — зевает её славянское имя, убеждая не торопиться, подождать). Буква расщепления, растрескивания сопротивляющегося косного материала. Он разлезается на наших глазах.

«Щ» гораздо теплее (уже потому, что — гуще, плотнее) цинковой, бесплодно-звонкой «Ц». В ней — уже почти на самом краю алфавита — снова набухает бытие, давая нам понять: ничто ещё и не думает кончаться.

Просто будут другие горизонты.

И вот — после многоречивого алфавита, на выдохе — буквы молчания, разных его вариантов и модусов:

Ъ ъ, Ъ ъ

Буквы с пузырьками молчания внутри, стражи и накопители молчания. Буквы границы.

«Ъ» — буква-площадка, упорная буква-опора: подпирает пустоту, не даёт ей упасть на землю, разделяет её с землёй. «Ь», более чуткий и органичный, оставил эти старания: запускает в пустоту стебелёк-антенну, впитывает её.

Осторожные буквы, почти отказавшиеся от самих себя: растратившие звук, утратившие имена (скрываются за громоздкими псевдонимами: «твёрдый знак», «мягкий знак»), они остались чистой возможностью звуков, живой памятью об этой возможности. Это буквы пустоты, буквы воздержания от речи. Лишь в их настоящих именах ворочается, угасая, древнее рычание: «ер», «ерь».

Ы ы

Ы ы — вклинивается между двумя молчаниями особенный звук с его особенной буквой. Звук молчания, мычания, голос

немоты, звук мучительного прорыва в послесловесные и послесмысловые пространства, щели между двумя безгласиями. «Ерь», комочек тишины, опирается здесь на посох — и только эта внешняя опора даёт ему возможность голоса.

Далее — буквы итога.

Э э

«Э»? — оборачивается буква к окликающему её алфавиту, растерянная, распахнутая — и формой, и наполняющим её широким звуком — прошлому. Буква-парус, наполненная, раздуваемая всем состоявшимся в алфавите бытием. Эта буква последнего охвата мягкой заботливой скобкой отгораживает азбуку от забуквенной тьмы, протягивает полочку (осознаёт ли сама, насколько маленькую?): разложить на ней набранный в буквенном пространстве опыт, рассмотреть его.

Ю ю

«Ю» свёртывает в трубочку свет алфавита, делает его металлически-тёмным. Примиряет техническое-прямолинейное и органическое-округлое, уравнивает их и уравнивает. Буква-ключ запирает буквенное хозяйство, отворачивается от него, решительно поворачивает к нему жёсткую спину: всё, хватит. В какую тьму она вглядывается своим разбухшим, воспалённым оком?

Я я

Но совсем расстаться с самим собой у алфавита всё-таки не получается — и дело кончается ещё одной ретроспективной буквой.

Ясная (и самоуверенная в своей ясности) буква подведения итога спокойно и уверенно — отставив ногу-опору — огляды-

вается на пройденный путь, освещает его собой-фонарём, — но кроме пройденного, она ничего не видит, зрячесть и чувствительность её односторонни. Забуквенной тьмы «Я» — от неё отвернувшись — замечать решительно не намерена. Это — буква столь же рациональной рефлексии, сколь и намеренной слепоты.

Поэтому дальше движения нет.

Постскриптум. Из ненаписанного: метафизическая латиница

Z z

Зигзаг, метание. Буква, маскирующая мнимой твёрдостью — растерянность, мнимым движением — не покой, увы, но ёрзание на месте: после решительного якобы рывка вниз по диагонали Z возвращается к тому же движению, с которого и начал. Клацающая (псевдотехничная) угловатость не в силах здесь отменить вязкости. Тавтологичная буква — неспроста излишняя в классической латыни, но очень уместная в поздних европейских языках: живой знак дезориентированности как одной из ведущих (не ведущей ли вообще?) черт духовного состояния соответствующих обществ. Явно маскируя это, современные европейские алфавиты числят Z своей последней буквой. Однако в этом так и хочется признать — точно так же, как в самом Z — некоторую коренную, неуспокаивающуюся неправильность: ведь самый тип движения, воплощённый в Z — таков, что поставить на нём точку невозможно. Хотя, с другой стороны — не обещание ли это грядущего прорыва из нынешнего дезориентированного состояния? Хотя бы смутной, невротичной надежды на такой прорыв? А потому — очень разумно, что Z стоит в самом конце. Пусть там и стоит: пусть хотя бы таким образом наш конец получает шанс стать новым началом.

2007—2017

Содержание

Время сновидений.....	3
До всего. Движение.....	3
Крупное.....	4
Жуткое. Первовещи и первочувства.....	5
Магическое. Близнечества.....	6
Красное.....	8
Зелёное.....	9
Запахи.....	10
Слова.....	12
Вечность.....	12
Многомирье. Коробка Расходящихся Пуговиц.....	13
Значительное.....	15
Окуджава. Звуки.....	16
Сухое и влажное. Соки бытия.....	17
Не кончается.....	18
Ортопедия смысла.....	19
По буквам.....	25
О непроходящем: изготовление прошлого.....	31
Тело памяти. Библиоалгия.....	31
Отлежаться и вращи.....	33
От истока.....	35
Матрицы.....	37
Сейчас.....	39
Дома и бездомья: пластика странствий.....	42
Поэтика потерь: к антропологии вещи.....	49
Работа убывания.....	56
Приходит и забирает.....	65
Световая топография.....	77
Обитаемое пространство.....	81
Город-палимпсест.....	81
Красные Дома: точка сборки.....	84
Юго-Запад: От земли до неба.....	88
Отступление: Черновик бытия, помарки на полях. Чертаново.....	90
Внутри внешнего: Так души смотрят с высоты.....	92
Первоэлементы: метафизическая кириллица.....	95
Постскрипtum. Из ненаписанного: метафизическая латиница.....	117

Ольга Балла

ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ



Выпускающий редактор *А. В. Безрукова*
Корректор *А. В. Вревская*
Компьютерная верстка *Н. И. Павловой*
Дизайн обложки *Ю. А. Натерова*

На обложке фото автора

Подписано в печать 19.07.2018. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «MyslC». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7,5. Тираж 300 экз (1-й завод 100)
Заказ №

ООО Издательство «Совпадение»
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 26-2, оф. 253
info@sovpadenie.com
Интернет-магазин издательства: www.sovpadenie.shop